19.516к7

# АТАКА

№ 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК
1930

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

## Ивановское Областное Отделение

**Центральный книжный магазин**

**Иваново-Вознесенск, Социалистическая, д. 19/2, тел. 5-06.**

---

## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**(Составлено бибкабинетом бибколлектора Ив. Обл. Отд. Госиздата).**

III — **Бахметьев, В.**— Преступление Мартына. Роман. 6 изд.—М. и Л. „Земля и фабрика". 1930 г. 237 стр. 45 к. (Дешевая б-ка ЗИФ'а).

II — III **Безыменский, А.**—Выстрел. Комедия в стихах.—М. и Л. Госиздат. 1930 г. 127 стр. 20 к.+10 к. перепл. (Дешевая б-ка Госиздата).

II — III **Гладков, Ф. В.**—Цемент. Роман. 13-е изд.—М. и Л. „Земля и фабрика". (1929). 411 стр. 90 к.

II — III **Горбунов, К.**—Ледолом. Роман.—М. Л. ГИЗ. 1930 г. 192 стр. 30 к. Перепл. 10 к. (Дешевая б-ка Госиздата).

II — **Замойский, П.**—Лапти. Роман. Книга I. 2-е изд.—М. Госиздат РСФСР. „Московский рабочий". 1930 г. 239 стр. 2 р.

III — **Катаев, И. И.**—Сердце. Повесть. 2-е изд.—М. Изд-во „Федерация". 1930 г. 256 стр. 1 р. 50 к. Перепл. 20 к.

III — **Караваева, А.**—Собрание сочинений. Т. VI. Лесозавод. Роман.—М. и Л. ГИЗ. 1929 г. 588 стр. 2 р. 85 к. Перепл. 30 к.

III — IV **Лаврухин, Д.**—По следам героя. Записки рабкора.—(Л.). Изд-во писателей в Ленинграде. (1930). 297 стр. 2 р.

II — III **Либединский, Ю.**—Комиссары. Вступит. статья и примеч. И. Машбиц-Верова.—М. и Л. „Земля и фабрика". 1929 г. 280 стр. 60 к. 10 к. папка.

II — III **Либединский, Ю. Н.**—Неделя. Повесть. 13-е изд.—М. и Л. Изд-во. „Земля и фабрика". 1930 г. 111 стр. 25 к. Перепл. 10 к.

II — **Ляшко, Н.**—Доменная печь. 3-е изд.—М. и Л. „Земля и фабрика". 1929 г. 144 стр. 1 р.

III — **Никифоров, Г. К.**—Собрание сочинений. С портр. автора и критико-биографич. очерком В. Полянского. Т. I. У фонаря. Роман. 3-е изд.—М. Л. „Земля и фабрика". 1929 г. 352 стр. 1 портр. 2 р. 50 к.

II — III **Овалов, Л.**—Болтовня. Повесть.—М. Мосотгиз., „Московский рабочий". 1930 г. 120 стр. 70 к.

III — **Панферов, Ф. И.**—Бруски. Роман. (Кн. I).—М. и Л. ГИЗ. 1930 г. 320 стр. 50 к. Перепл. 15 к. (Дешевая б-ка Госиздата).

III — **Панферов, Ф.**—Бруски. Роман. Кн. 2-я. М. Мосотгиз. „Московский рабочий". 1930 г. 279 стр. 2 р. 50 к.

## ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ:

1. Центральным книжным магазином ГИЗ — Иваново-Вознесенск, Социалистическая, д. № 19/2, тел. 5-06.

2. Окружными магазинами ГИЗ—в Шуе, Ярославле, Костроме, Владимире, Кинешме, Александрове и Рыбинске.

3. Районными магазинами ГИЗ.

Продолжение на стр. 3 обложки.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

# АТАКА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

№ 2

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. ЗАЛЕССКОГО, А. НОЗДРИНА, Е. ПЕСТУНА

Ивановская обл. библиотека Кр. обяз. экз.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК
1930

-- 2010

Кр 19.516

ГИЗ № 34393. ИВ. ИНДЕКС П. 13.
ОБЛЛИТ № 956. ТИРАЖ 2500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПО-ЛИТОГРАФИИ
„КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"—ИВ.-ВОЗНЕСЕНСК.
ЗАКАЗ № 3319. СТ. Ф. А5 — 148 x 210.

*МИХАИЛ ШОШИН.*

# СОРЕВНОВАТЕЛИ.

РАССКАЗ.

Вокруг двухэтажных домов, составлявших большой поселок, записанный с осени прошлого года в анналы горсовета под названием Фатьянка, по имени отлогого угора над рекой, на котором разместился поселок, валялось много щебня, сухой глины, кусков извести, коры с бревен. Постройка его только что закончена, а люди, заселившие его, еще не обжились.

У подножия угора проходила река. У берега прилипла лодка, как скорлупа подсолнуха на голенище смазных сапог.

Вдали виднелся железнодорожный мост, точно скелет какого-нибудь ихтиозавра.

Вправо, в полуверсте от Фатьянки, в низине стоял грязный, оборванный, пахучий, как золотарь, химический заводик.

Отступя от невозможного соседства с четверть версты, шли одни высокие, гордые, другие низкие—унылые корпуса фабрик, с возвышающимися над ними трубами и бассейнами.

Со стороны Фатьянки расположились необозримым становищем старинные слободки и новые поселки.

На лавочке у одного из домов, что стоял на небольшой поселковой площади, сидела группа рабочих десятка в полтора. Каждый вечер выходили сюда глубоко подышать, наговориться, освежить детишек.

В одной из комнат второго этажа насупротив стоящего дома загорелся крупный разговор.

Старый дребезжащий голос злобился и нападал; молодой отбивался и поддразнивал.

Шлихтовальщик Рамодин, старый, опустившийся, в валенках, много раз подшитых и опять растрепанных, вкрадчивым взмахом убил зарумянившегося на другой руке комара и, почесав укушенное место, проговорил уныло:

— Опять Сергеиха с дочерью схватились.

— Известно...

— Живут только две и у них каждый день—рвана грамота.

Цветиха (Анна Ивановна Цветкова), крупная сырая ткачиха, раз'яснила:

— Матери не по мысле дочернино поведенье. Возьми теперь к примеру—Дуська крутится с Туляковым второй год и конца крученью не видно.

— Есть об чем ругаться.

— Нынче так принято.

— Разве их уймешь.

— Повсеместно так случается.

— Нынче не разберешь—не то у них любовь, не то одна болтовня.

— Мало ли что: другим это ни к чему, а Сергеиха сердцем неспокойна и стерпеть не может.

— Не поверю, чтобы из-за этого пилила.

— Из-за другого чего-нибудь режутся.

Внезапно ругань стихла—кто-то не выдержал и ушел.

Рамодин протянул презрительно:

— Наелись, значит...

Из противоположного дома вышла плотная коренастая деваха в ботинках без каблуков цвета беж, в синем жакете поверх голубой майки. Она прошла мимо кичливой походкой, покачиваясь, руки в карманы жакета, гордо откинув голову, не посмотрев на группу гуляющих.

Цветиха не удержалась:

— Ишь ты, какая стала... Земли под собой не чует.

В дверях появилась мать и провожала ее криком:

— Когда ты нашатаешься? До двух в саду провертишься, а в пятом на заработку вставать. Туда же мать насмех придумала поднять! Упрыгаешься, пташка моя, за матерью то. Все жилы в себе вытяну, а на унижение к тебе не пойду! Не на таковскую напала.

С лавочки обрадованно закричали:

— Сергеевна, поди—погуляй!

— Фаина Сергеевна, да не расстраивайся, хи-хи...

— Поди сюда—прохолодись!

Она привычным движением заправила выбившиеся волосы под платок и направилась к друзьям.

Это была женщина лет пятидесяти—худая, но костистая и жилистая, в старомодном широком и длинном платье темного рисунка.

Лицо ее спокойно-рассудительное, с затвердевшим простодушием и терпением в чертах, как и у тысячи сверстниц ее профессии. На лавочке мест не было—Сергеевна вытащила из щеп обрубок и уместилась на нем.

— Ты что, злючка, все воюешь?

— Ах, ты, крикунья! Одна дочь у тебя, и ту заела.

— Да она, пташка моя, покою мне не дает. Ночи прогуливает—наплевать, рядится непомерно—ладно. Терплю. А вчера что, мошенница, сделала? В обгон меня вызвала.

— Как это в обгон? — не понял Рамодин.—Бежать что ли?

— Какое, бежать... Работать! Кто кого в ткацкой переработает.

— Соц...илистическое соревнование, — раз'яснила делегатка Клушина—молодая женщина на последних месяцах беременности.

— Вот! Оно самое! — Только ведь так-то нам не выговорить. Мы обгоном зовем. Сегодня уж в городской газетке про нас немножко напечатано, что-де мать дочь в обгон вызвала.

— Это распространено, — сказала Клушина. — Вон тоже Ивана-ремизника сын вызвал.

— Ну, смотри, Сергеиха,—зловеще заговорил шлихтовальщик Рамодин. — Держись! Если она тебя обгонит, в инвалидки тебя переведут и будешь ты дома ее ребятишек качать. В это место она и бьет.

— Я ли к ней не радела... Я ли ее — мою пташку—не лелеяла, и вот мать какую за это получает благодарность.

— Я бы на твоем месте робеть не стала, — твердо заявила Катя Овца. — Я бы с первых же дней закатала ее.

Помолчали. Никто не сомневался в этом—знали эту старуху, как самолучшую ткачиху и героическую мать.

Маленькая, толстенькая и несоразмерно с туловищем коротконогая, в девушках она принесла ребенка и из-за этого осталась незамужней. За свою жизнь от разных отцов она имела пятерых детей и четверых (один умер) выкормила, не получая никакой помощи от отцов. «Поднимать» детей приходилось трудно. Об ее энергии и экономии в быту известны по слободкам легенды.

До революции мясо в семье Овцы бывало только два раза в году. По воскресеньям варили воблу и селедку. Кости от супа Катя снова варила и на этой воде месила пресные лепешки. Ложку облизывала до тех пор, пока не пропадал с нее запах с'еденного. С яйцом с'едала с фунт хлеба и, все-таки, ей мнилось, что на скорлупе что-то осталось питательное—складывала ее в чайник и скорлупа заменяла чай. После революции Катя живет по-человечески—подросли дети, сын и дочь работают на фабрике.

— Не вызвать ли мне свою Таньку, а то что-то уж больно много говорит да гуляет. Ей-то уж за мной не угнаться. Я на станках-то, как гармонист на гармоне.

Ее уверенность разбудила профессиональное самолюбие стариков.

— И Сергеиха-то зря горюет, — оживился Рамодин.

— Ты, Сергеиха, ей не поддавайся!

— Не опозорь нас, а то молодые уж больно губу загнут.

— Сдохнуть им обоим с Васькой, а не сработать, как я еще сработаю,—воинственно произнесла Сергеиха и стукнула кулаком по утоптанной земле.

— Знамо дело, им еще так не сработать.

— Они, по-моему, пониже нас окажутся, — предположил Рамодин.

* * *

Дуся знала—мать вырабатывает самое большее тридцать пять, от силы тридцать шесть метров на станок, и смело бралась перегнать такую выработку. До отпуска оставалось два месяца (срок ею взятый для соревнования с матерью) и она намеревалась взять себя в руки, всеми силами приналечь на производственную работу, а потом приятно отдохнуть.

Но мать стала чрезмерно прилежной к работе и снисходительно-насмешливой по отношению к дочери. За полторы недели она подняла выработку на каждый станок по всей четверке до сорока метров и изо дня-в-день крепко держала выработку на этом уровне. Дуся вырабатывала 37 метров, потом с большим трудом догнала до 38 и, наконец, когда всю смену не пила и не ела, чтобы не терять дорогого времени на ходьбу за кипятком и чаепитие, вырабатывала 38,6 метра.

Секрет недоступной для Дуси выработки матери заключался в особой, приобретенной десятками лет сноровке, проворстве и быстрой ориентировке в работе станка.

На производственном собрании заведующий ткацкой фабрикой Капитон Семеныч коснулся этого факта. Он щурил глаза, будто грозил кому-то по старой привычке быть грозным с рабочими, и то и дело поглядывая в сторону молодежи, насмешливо улыбался.

Капитон Семеныч—небольшой, худенький человек, с седой бородой, наполовину желтой от табаку, был без специального образования, практик, но в тресте признан хорошим талантливым спецом.

С людьми высокого положения он низкопоклончив, с рабочими грубоват, с молодежью презрительно-ласков, но все это ему прощалось за его исполнительность и рабскую преданность производству.

Многие рабочие, на которых когда-либо замешкался его пронзительный, насмешливый взгляд, наделены им кличками: «Рваная порка», «Кудесник», «Овца», «Пуканой», «Тихо-ходит», «Сачек», «Сыч», «Лапа», «Сорочок», «Самоварная труба», «Кувыляй Иваныч».

Говорит—ремизочки, челночки, кареточки.

Некоторые с молодых лет до наших дней ходят с его прозвищами. Сами рабочие за глаза зовут его Ежом.

К студентам-практикантам относится очень взыскательно и вместе с тем небрежно и зовет их—Аркашка, Сережка, и тех, которые позанятнее—Пегашка, Цыган; одну студентку звал Быстреница, другую—Начинка. Понятно, что Капитон Семеныч сразу втайне встал на сторону стариков, а внешне старался выказать свое беспристрастное отношение к производственным дости-

жениям поколений, но это ему не удавалось; рассказывая о стариках, он захлебывался уменьшительными словами.

— Милые мои товарищи, — говорил спокойно, хитровато Капитон Семеныч. — Я, конечно, сам безумно влюблен в комсомол и даже сына поощряю работать в комсомоле, но только скажу: у комсомольцев производственная закалка слаба.

— Факты?! — звякнул молодой голос.

— О факты, ненаглядный мой, я все ноги обил. Каждый день запинаюсь! Комсомолка Манякова вызвала на индивидуальное соревнование свою мать. И что же? — Он сделал грозное лицо и помолчал, но потом сразу насмешливо улыбнулся и вздохнул: — Сдает, касатка. Старушечка ей сорок очков вперед может дать. Седая обставляет ее на три метра на каждом станке. Я вообще хочу подать сигнал комсомолу (всю молодежь в моем отделе я считаю комсомолом) в контр-наступление. Моя ткацкая старая гвардия наступает на вас. Вот шлихтовальный отдел постановил вызвать на соревнование проборщиков. Написали договор, подписали и после всех несут Ваньке Сычу... то-есть, извиняюсь,— товарищу Рамодину. — На-ка, говорят, старичек, почитай — может, подмахнешь.—Почитал он и отдает назад.—Не будешь?— спрашивают. — Я дома подумаю,—отвечает им Ваня. Ждут день, другой, третий. Ничего Ваня не говорит, только ходит все около машин, будто хворый. Сердиться на него стали—весь отдел подводит. — Сыч,—окликают его:—тебе, брат, в инвалиды время. — Ничего, говорит, погожу. — И вот, однажды, приходит он в новой рубашке и в очках. Очки до этого надевал только дома, почитать.

— Аркаша, — кричит он праздничным, послеобеденным голосочком комсомольцу-заводиле,—где у нас договорчик? Дайко-сь я его почитаю!

— Почитал он его, почитал, да в пункте «поднять производительность труда на десять процентов» взял да и переправил на двадцать процентиков.

Собрание неистово аплодировало.

— Что, Вася Пуканой—не человек, можно сказать, а музейная редкость, и тот принял участие в социалистическом соревновании.

Смех перевился с аплодисментами.

Каплин, по прозвищу Вася Пуканой, был человек одинокий, вдовец, совсем испортивший свою живую душу на религии и в особенности на чтении Ефрема Сирина и Ивана Златоуста.

— Раз уж соревнование даже Каплина раззадорило, значит, оно хватило в глубину, — об'яснял Капитон Семеныч. — И я говорю комсомолу, что тут надо не только подтягиваться, а быть героями... впереди на два метра... Покажите старичкам настоящие достижения. — Он посмотрел в сторону молодежи и ехидно улыбнулся:

— Растревожили вы стариков... честолюбие задели... Они знают, что поговорить вы любите, а вот хорошей работы от вас не видят. Собирайте все свои силы, уменье и знания, чтобы победить в соревновании, а так одним напором, задором и голыми руками вы их не осилите.

На другой день к станкам Дуси Маняковой подошел секретарь комсомольской ячейки Балачкин.

Широкоплечий, здоровый парень, в новенькой зеленой майке, Балачкин припадал на одну ногу (сломали прошлый год на розыгрыше осеннего первенства по футболу). Увечье произвело резкую перемену в его характере—удалой, разухабистый парень стал спокойным, старательным работником.

— Вот что, Дуня! — закричал он ей на ухо. — Ты, давай, подтягивайся. Не поддавайся матери. Во что бы то ни стало! Сама, наверное, чувствуешь, что вопрос встал на глубокую принципиальную линию; нам бросают упрек — не умеете работать. Надо доказать, что мы—надежная смена и производственные достоинства у нас на большой палец. А у тебя и выработка меньше и браку больше.

Девушка укоризненно тряхнула головой:

— Ишь ты, ловкий какой! Ты думаешь — это так просто? Сам бы поработал...

Балачкин легонько покосил на нее глазом:

— Не разводи демагогию!

Вскоре Балачкин привел к ее станкам комсомольца подмастерья Додельцева и стажера из текстильного техникума. Они просмотрели движения станка, берда, челноки, погонялки и оказалось, что Дуське жаловаться на свои станки нельзя—они в полном порядке. Отлучившийся на короткое время Балачкин тормошил молодых специалистов:

— Какие тормозы у нее в работе?

— В порядке станки. Все дело в ее расторопности. Чувство быстрой ориентации в работе, навыки в управлении станками у нее не так хороши, как у матери,—раз'яснил стажер.

— А нельзя ли побыстрей станки пустить? — поинтересовался Балачкин.

— Можно... Но ведь простоев будет больше — ломаться чаще будут... Да и не успеет она их обслуживать.

Додельцев наклонился к уху Балачкина и сказал осторожно, по секрету:

— На этой же неделе обгонит, если одну штучку сделать. Пустить полотно на зуб реже—и старуха с высунутым языком не догонит.

Балачкин покрутил головой.

— Ну, мы штучками заниматься не будем. Это недопустимо комсомольского званья... Чтобы всякая работа была на честных условиях! Слышишь?!

Балачкин посмотрел на Дусю: она, вставив в челнок новый початок, пустила станок, повернулась к другому—тоже сменить початок, у третьего вылетел челнок. Четвертый работал во всю, будто самый сознательный—подавал пример. На ее лбу виднелись капельки пота, глаз не было видно—под опущенными ресницами—приходится все время смотреть на станки сверху вниз.

Балачкин подковылял к ней и закричал в шум и грохот, который со всех сторон теснил ткачиху:

— Дусенька, ты порасторопней действуй... Больше уверенных движений... Не порть наше знамя!

— Без тебя знаю, — раздраженно ответила девушка и бросилась заводить отрыв на четвертом.

Балачкин отошел от нее и диву дался—что это оба молодые специалиста так молниеносно скрылись—надо бы кой-чего им сказать. Увидев подходившего к нему Капитона Семеныча, усмехнулся: «Вон, отчего они так быстро испарились — боятся старика».

— Что разглядываешь, Кувыляй Иваныч? Челночки правильные, кареточки новенькие, станочки послушные... — Капитон Семеныч все щурил глаза и морщил лоб, все будто грозил кому-то.

— В этом случае, скажу я тебе откровенно, дружок, секрет не в станках, а в человеке.

Видели пожилые—Балачкин то и дело мотается по корпусу. Всем известно,—он укорил комсомольца Додельцева в том, что не он первым, а его вызвал на соревнование старик-ткацкий подмастерье—Вася Пуканой.

Чтобы выдвинуть комсомол в производстве на первую линию, Балачкин решил сделать упор на индивидуальное соревнование, потому что оно наиболее оживляло рабочую массу и принимало острые напряженные формы. С этой точки зрения подходил и Капитон Семеныч, советуя Балачкину усилить участие комсомольцев в индивидуальном соревновании, он был уверен, что здесь чувства соревнования сильнее распалятся, что, несомненно, поднимет соревнование между коллективами, где чувствовалось меньше под'ема.

Пожилые растревожились, стали сердитыми, гордыми. Балачкин то и дело покачивался на своих разной длины ногах у станков Евдокии: это был, по его признанию, наиболее слабый участок фронта. Фигура Балачкина раздражала стариков, тревожила. Стали говорить о том, что надо им крепче поддерживать между собой спайку.

— Вишь как молодые-то друг о дружке заботятся. Поддержка в таком деле—всему голова.

— Митрич,—обращались ткачихи к Пуканому,—ты бы погля дел—они на Дуськиных станках фокуса какого бы не подделали, на зуб реже не поставили бы.

К Фаине Сергеевне забегали подруги в таких же длинных старомодных платьях скромного рисунка, как и у нее. Кричали на ухо с лихой усмешечкой.

— Сергеевна, не выдавай. Пусть молодые поглядят, что значит хорошая ткачиха.

— Потешь свое сердце—поставь ее ниже себя. Пущай, поганки, больше матерей почитают.

Рамодин, изредка встречая ее на ширинке или у куба, твердил все одно и то же каким-то вещим голосом, непривычно глядя из-под очков маленькими мутными глазами ночной птицы.

— Всей фиброй, Сергеиха, держись. Как она тебя переработает, тебя в инвалидки сбурят. С ребятишками она тебя впрягет водиться. Рано тебе в инвалидках тосковать; ты еще в силе.

Как-то второпях завернула к Сергеихе Матрена Люлина, одна из лучших ткачих, бодрая, возбужденная и с явным намереньем доставить подруге приятное, сообщила:

— А я Тамарку Кудрину вызвала. Пусть пупок-от по нашему помозолит, а то глядеть тошно: придет в корпус напудрена, губы накрашены, а за челнок тремя пальчиками берется. Тоже комсомол, а станки в путанке тонут. А глаза только все на ширинку пялит... Ни одного парня хорошенького не пропустит, чтобы не подмигнуть. От моей нормы ее обморок хватит... ха-ха... Так ей и надо вертячке. Хоть у нее мазня-то с рожи слетит.

Заходила и Катя Овца. Ласково, учтиво выжимая каждое слово, говорила:

— Решилась и я, Фаина Сергеевна, — свою Танюшку на сренованье вызвала. Уж больно она у меня много да хорошо говорит — погляжу, какова на деле-то. Да прямо скажу тебе, Фаина Сергеевна, непомерно много гуляет. И из-за этого тельности, по-моему, на ней мало и на невры жалуется. Сренование, по-моему, ей на пользу должно пойти.

И из того, с каким довольством и вниманием она говорила о дочери, можно было заключить, что она очень любит детей.

— Тебе, Катерина, — отозвалась Манякова, — одной сознаюсь, — материнское сердце очень слабо... как бы сказать жальливо. Как пройду я мимо ее, моей пташки, взгляну, как она изо всех сил бьется, так у меня сердце заколотится, заколотится. Не сердись на меня, моя пташка, думаю,—ведь я на тебя без зла. Инда с сердцем то еле совладаю.

— Напрасно, Фаина Сергеевна, допускаешь такую слабость. Жалеть их надо в дело. А сренование им на пользу. Я так понимаю — лучше обдержатся. А то гулять да говорить непомерно горазды, а на работе жидки. Ты и не расстраивайся, и не распущай свое сердце, а дома так еще ее смешком да веселинкой подзуживай... Я вот свою Танюшку прямо до кипенья доведу... Даром, что в своих ребятишках дущи не чаю.

* * *

Отработав смену, выходят молчаливые, спокойные, полные того степенного душевного удовлетворения, какое дает напряженный производительный труд.

За фабричными воротами расходятся по разным тропам. Десятый час. Ночь унылая, росная, невозмутимая, как поле.

Громада парка наполнена электричеством; там громыхает оркестр, точно гроза где-то в стороне. Сдавленным рокотом доносятся разговоры возвращающихся рабочих. В колоннах, свернувших на Фатьянку, сразу открылся походный митинг, как рабочие называют разговоры при возвращении с фабрики. Говорили, как и всегда, громко, резко и страстно. Каждое слово отчетливо было слышно на далеком расстоянии.

— Вот подбиваете на шести станках работать, а мы робеем. Покажите нам, как превосходно работать, — голосила Цветиха.

Молодые голоса отвечали скромнее:

— Покажем. Давно знаем, что без скандалу вы на шестерки не перейдете.

— Как же перейти на шесть станков, да не поскандалить.— Это им слаще меду.

— Заскандалишь... Мы, старухи, ломи боком, а у вас все хиханьки да хаханьки, да рожу в зеркальце. Вы больше языком, а дела нет...

— Ты зря не обижай — ведь не хуже вас работаем.

— Стало-быть, хуже, раз вас старые ткачихи обгоняют...

— Рано закаркала. — Соревнование — только началось; еще неизвестно кто кого.

Из другой группы слышалось:

— Матрена Люлина вызвала Тамарку Кудрину. Ха-ха. Вот уж верно, связался чорт с робенком... Тамара себе еле на краски зарабатывает, а Матрена — ткачиха-то из всего комплекта.

Отдельно шли вдвоем Додельцев с Васей Пуканым и курили папиросы Додельцева.

— Хотя, Василий Митрич, твой комплект по выработке и впереди моего, но я, как подмастерье, откровенно скажу,—лучше тебя, — поддразнивал Додельцев своего спутника.

— Я этого не вижу, — возражал Вася. — Я станок наскрозь знаю, а вот про тебя говорят, что ты путаешься. Одним твоим словам я не поверю. Покажи. Вот что Христос?! И тот для показу по воде ходил.

— И я после дождя по воде хожу...

— Он по озеру шел. По самой глуботе... Как отсюда вон до забора прошел.—Нет уж ты, молодец, подожди себя хвалить... Вот я тебе нос утру, да и в инвалиды пойду...

— На покое секту организуешь. Себя Христом об'явишь, богородицу себе подыщешь помягче.

Пуканой, сделав над собой усилие, чтобы не рассердиться и сдержать себя, отвечал трогательным голосом:

— Ты надо мной не смейся... Да, да, не смейся. Хорошо вот тебе—ты молодой. А, возможно, Сирин со Златоустом в моей душе хуже обманщиков. Каково вот умирать с такой обидой.— Да! Смеяться каждый может, а ты вот переделай меня. Да! Переделай!

— Не понимаю я, все-таки, — зачем тебя на эту мертвячину — богословов потянуло. Читал бы Пушкина.

— У Пушкина все про женский полк, а я искал, как лучше, правильнее жить, и вот, понимаешь, теперь вижу, что врюхался. Всему свое время было. Тебе это, знамо дело, непонятно.

— На вот, закури еще, да не расстраивайся. И тебя переделаем.

Впереди раздавался бодрый голос Матрены Люлиной:

— Вызывай их всех! Закатаем... Пикнуть не дадим. А то горды чересчур стали.

Немного поодаль, в небольшой группе, шла Катя Овца и хвасталась своими детьми, выжимая каждое слово:

— Про тебя, Фаина Сергеевна, мой сын стишок сочинил. Старой кадрой тебя похвалил. И про меня тут помянуто. Мать моя, говорит, дорогая мать, мы с тобой разные люди, как я тебя образованней и больше понимаю, но я, говорит, тебя никогда не забуду. А то другой стишок у него был в журнале пропущен. Позавчера Борису-то за него три рубля прислали.

Туляков, работая в столярном отделе, в денной от восьми до четырех, приходил иногда встречать любимую (когда у нее вечерняя смена) к фабричным воротам. Сегодня она отыскала его взглядом среди десятка парней, встречающих своих девушек, и около него замедлила шаг. Он подхватил ее под руку и они пошли в парк.

Едва завидев лавочки, она сказала:

— Давай посидим, я устала.

Они сели. Василий поспешил подхватить ее за талию и прижал к себе. От нее пахло потом, затхлым воздухом корпуса, ремизами; на белой кофточке мелькали полоски грязи. Туляков ощутил какое-то тихое непонятное разочарование.

Он наряжался во все лучшее, смотрел несколько раз на часы, чтобы притти в аккурат, потом у фабричных ворот трепетно дожидался, когда она мелькнет в массе людей, и что же? — вот она сидит с ним, вялая, холодная, неинтересная. Грустно. Ни радости, ни приподнятого настроения. «Если бы она знала о моих ощущениях в данное время,— думает Туляков, — она бы запретила встречать себя у ворот. Это ей невыгодно».

И он уже решил, что сегодня не будет об'яснений, разговора о любви, поцелуев. Тем временем его рука скользнула с талии и ухватилась за скамейку:

— Ну что ты какая?—спросил он ее раздосадованно.

Она подняла на него большие синеватые глаза и устало улыбнулась:

— Без спросу, я думаю, понятно.

— Брось ты... Гляди, подсыхаешь. Вот еще затеяла.

Она молчала, постукивая себя свернутой в трубочку газетой по левой ноге.

— Надумала, а потом каешься. Конечно, комсомолке иначе нельзя, но лучше бы чужую вызвала.

— Да не сама я... Бюро ткацкой ячейки предложило.—Твоя мать очень халатна.—заявили мне,—норму не вырабатывает. Занимается прогулками по корпусу да разговорами в уборной... Отрывает ткачих от дела и нарушает производственную дисциплину.—А она, видишь ли, действительно работала валиком. Живем только двое, обе работаем, заработка ей хватало слишком, ну и работала она кое-как... А теперь, как взялась, так у Ежика лицо вытянулось. Говорят, Ежик остановится у ее станков и, потирая руки, твердит: «превосходно, превосходно».

— А ты уж отчаялась ее победить? Не правда ли?

— Нет, зачем же... Я уже по трем станкам подняла выработку выше сорока. Четвертый станок у меня тоже близок к этому, но браку много дает.

Крепко и продолжительно помолчали.

Дуся встала.

— Ну, я пойду. Мне поесть хочется... И спать.

Она протянула руку для прощания.

— А тебе еще рано. Погуляй. Видишь, народу сколько сошлось. Девочек свободных много... Как раз в кино на второй сеанс поспеешь.

И сказала это она просто, искренно, без тени ехидцы, присущей в таких случаях девушкам.

— Девченка до того утомилась, что в любви сдает все свои позиции, — промелькнуло в его голове.

И в тот момент она показалась ему человеком с хорошей душой; такой дорогой и милой, что он вскочил и страстно взял ее под руку.

По пути на Фатьянку она, отдыхая, слушала его, а он старался рассказывать только интересное и то и дело склонялся целовать ее шею и ухо.

Утром мать теребила Дусю за голое плечо:

— Вставай, пташка моя, вставай. Девять часов, десятый пошел. Жара уже подступила. И как тебе, пташка моя, в такую жару спится.

Дуся проснулась с полчаса тому назад и отвернулась к стене. От чрезмерного лежания тело тосковало, голова тяжелела, но, все-таки, не вставала — хотелось досадить матери, стать по отношению к ней чужой, обиженной.

А мать снова подходила. Дуся, чувствуя ее приближение, прищуривала глаза и насмешливо смотрела на нее.

Проходила томительная минута.

После этого раздавался веселый говорок, в котором было и голубиное воркование и снисходительная насмешка.

— Ишь ведь как, пташка моя, надулась. Вставай, пташка моя, скорее, не надувайся, а то лопнешь. А каких я пряженчиков напекла...

И сразу, переменив тон, строго добавила:

— Вставай сею минуту, пташка моя, самовар готов! Что ты на меня пузыришься—никакой вины на мне нету.

Дочь лежала с закрытыми глазами, румяная от стыда, думая:

— Она насквозь, верно, видит меня. Говорит так, будто в душе моей была.

И опять хотелось ей досадить и стать для нее далекой и непонятной.

Но вот мать застучала корытцем, приготовляя корм цыплятам, и вскоре вышла. Дуся облегченно вздохнула, поднялась и стала поспешно одеваться. Когда мать вернулась, дочь умытая и одетая уже ставила чашки на стол.

— Ты бы, пташка моя, до самой смены спала. Ишь ты в привычку себе взяла на постели все утро валяться. Проснется да и ворочается, как бугай. На меня что ли сердишься. Вишь как я провинилась перед тобой. Теперь вот будешь знать свою мать.

— Отстань! Что ты ко мне пристала, — вспылила дочь.

— Я дело говорю.

— Тошно слушать тебя. Все никак не нарадуешься на то, что тебя хвалят.

— И ты не горюй. И верно мне радошно. Никак не нарадуюсь на тебя, пташка моя: по парку до зари ты теперь не шлындаешь, ложишься спать во-время, кушаешь с апетитом, заработаешь много. Давай-ка, ежели, пташка моя, сошьем тебе платье из крем-дыши.

— Отстань! Надоела, — поморщилась дочь.

— Вот какие мы, пташка моя, благородные. Не желаем слушать простых разговоров. Ох, и до чего же я тебя набаловала.

Вошла Цветиха, охватив правой рукой большое блюдо, замешкалась, но сейчас же оправилась и заговорила:

— На вот, Сергеевна, поешь овсяного киселька. Если его с холодным молочком, так рука, можно сказать, устанет. Хорош вышел. Мука-то свежая — дедушка из деревни вчера привез.

Цветиха оглядела Дусю и спросила:

— Что ты какая? Не хвораешь ли?

— Что это?! Не-е-т... Мало ли я какая, — угрюмо пробормотала девушка.

— Поешь вот кисе-е...

— Кому принесла, тот пусть и ест. Все вы на меня ополчились. Организовались... Сплотились, будто я вас всех затронула. То киселя, то мягких пирогов несут... Вам все хочется, чтобы она меня переработала.

— Скрывать не буду, а скажу прямо — затронула,—загудела Цветиха. — Почему вы нас все ниже себя ставите? Мы хороши, да все везем на себе, да поднимаем фабрику, да работаем превосходно, а вы, старые, слышь, только скандалите да нас тормозите. А вот теперь и поглядите, как мы тормозим. И выходит, что вы только на языке умели выезжать.

— Ну, знаешь, тетка Анна, тебя ведь не перетрубишь. Пожалуйста. Кричи, если это тебе нравится.

— Ох, у тебя, пташка моя, настроенья нет, — пошутила мать, — не выспалась; еще когда встала — в десятом часу.

Цветиха осталась очень недовольна обращением с ней и, собираясь уходить, сказала:

— Скрывать не буду,—скажу тебе прямо Овдотья,—если Туляков возьмет тебя замуж, вспомнит бога.

— Не изволь беспокоиться—плакать не будет. Не такие времена.

Мать покачала головой:

— Чует мое сердце, пташка моя,—приму я с тобой горя.

* * *

На четвертой неделе Евдокия подняла выработку до сорока и выше по всем станкам. Останавливаясь у ее станков, Балачкин приходил в восторженное настроение и поощрял ее, не отрывая ее от работы, глазами, усмешками, знаками руки:—«молодец, дескать, действуй, крой. Я знал, что ты не подкачаешь».— И быстро уходил, чтобы не мешать ей даже несколько минут.

Как-то раз встретил его на этом месте Капитон Семеныч. Балачкин победно взглянул на него и широко улыбнулся.

— Видал?! — сказал ему Балачкин: — Дуська — перегонять стала. Я знал, что она не уступит. Не такая девка. Зря ты, Капитон Семеныч, на наших ребяток косишься.

— Что ты, что ты! Я же безумно влюблен в молодежь. Я сам на эту комсомолочку не нарадуюсь.

Говорил быстро и невольно играл усмешечкой, будто не мог сдержать неискренности или знал какой-то важный секрет.

Дальше Капитон Семеныч встретил Васю Пуканого и остановил его:

— Тебя, Вася, и не узнаешь!

— А что, Капитон Семеныч?

— Уж очень ты помолодел. Тебя можно женить. Право.

Старый подмастерье засмеялся как-то утробно, широко растянув рот в стороны. Так смеются редко, но очень многие люди, когда шутка им приятна.

Смех Вася быстро прекратил, вытянулся и, поддерживая рукой грудную клетку, сказал удивленно:

— И верно, Капитон Семеныч, я что-то здоровше стал. Чувствие у меня твердое, стало-быть, кровь во мне шибче заходила.

— Это, значит, старичок, встряхнулись мы. Встряхнулись, старичок. Хорошо!—об'яснил Капитон Семеныч и поспешил дальше.

Соревнование, повидимому, на самом деле повлияло на Пуканого благотворно. Он ожил, повеселел: стоило ткачихе заикнуться о поломе, как он уже спешил к станку и уделывал охотно и быстро. Выпадали даже продолжительные промежутки времени, когда все станки его комплекта были в ходу и он мог отдыхать, но новые, неиспытанные доселе, непонятные самому себе чувства не давали покоя.

Подгоняемый духом дерзания, он обходил свой комплект станков с масленкой в руке и говорил ткачихам, у которых станки были в наболее запущенном виде:

— Давако-сь, подмажем его, чтобы без шуму работал.

Своего соревнователя, Додельцева, он вспоминал каждый раз, когда нужно было много нагибаться или лезть под станок, всегда говоря одно и то же вслух, если кто-либо был около него, или про себя:

— Ему, чорту, хорошо — у него кости молодые, а у меня вот потрескивают и в спине стреляет. А все-таки, я ему не поддамся. Последнюю жилу на кон поставлю, а не поддамся. Меня бывало сам Ежик хвалил.

Однажды старый подмастерье увидел странную на первый взгляд картину. Катя Овца некоторое время настойчиво боролась с вышедшими из повиновения станками: заводила отрывы, заряжала челноки, пускала станки. Справившись с замином, присела между станками на початочный ящик передохнуть. Последние дни Катя впала в несвойственную ей, необычную нервозность. Поводом для этого послужило то неслыханное обстоятельство, которого нельзя было ожидать и она не ожидала: Танюшка такая же настойчивая и энергичная, как и мать в молодости, стала ее в выработке перегонять.

С той стороны, что дочь такая сильная и ловкая девушка, было отрадно, но с другой — тяжело было осознать, вместить, что лучшая на фабрике ткачиха Катя — в прошлом! И что ее легко оставляет позади дочка, которая на фабрике всего третий год! Ее пугал такой тяжелый жизненный момент — начала распада трудовой личности.

Отдыхая на порожнем початочном ящике, она имела возможность очень близко видеть, какое вырабатывается полотно на самом ближнем от ее взгляда станке. Вдруг вздрогнула и поднялась—на полотне получилась близна.

Она вскочила и приблизила лицо к полотну другого станка; здесь тянулась недосека. На третьем станке замяло челнок.

Катя быстро остановила оба станка, работавшие брак, и оцепенела.

Пуканой видел — из глаз ее так хлынули слезы, что лицо моментально стало мокрым, будто в него плеснули водой.

Она бросила свои длинные руки на нагрудку, уронила на них голову и затряслась в плаче. Пуканой подбежал к ней.

— Катерина, что ты? Ай горе какое напало? Скажи и полегче станет.

За ним уже стояли две соседки Катерины по станкам. Они оттеснили его.

— Голову что ли схватило?

— Может, вывести тебя в больницу?

Катя, чтобы не отрывать людей от дела, пересилила себя, поднялась и наскоро раз'яснила.

Три притихшие станка создавали маленький участочек сравнительной тишины и потому мучительные слова ее звучали внятно и значительно.

— Глаза стали хужеть. Не так быстры, как бывало. Близну, недосеку, часто не вижу. Никогда у меня не бывало столько браку. За Танюшкой-то теперь мне не угнаться.

Пуканой немножко осел, приуныл.

— Знамо дело, — промолвил он скрипучим голосом обреченности. — Мы уж немного нашкаляем. Все подработалось: и глаза, и ноги, и спина... Ну, что ж, пускай они лучше нас работают. Не жалко. Час добрый.

* * *

Мириться с крайней усталостью и безрадостностью было больно и Дуся остановилась в нерешительности на перекрестке, где следовало свернуть на Фатьянку—она нашла, что дома предстоит скука и бессонница от расстроенности и вялости. Внезапно захотелось вернуть прежнюю живость, жизнерадостность, задор и она, прибавив шагу, устремилась в парк.

В парке она поняла, что не может включиться в покой и веселость ее усталое тело и обеспокоенная душа. Завистливым взглядом она осмотрела гуляющих — они нарядные, веселые—и не вихрится у них в душе шаткость и отрешенность.

Мимо прошел с каким-то приятелем Туляков, она чуть-чуть вздрогнула и чтобы не попасться ему на глаза, незаметно проскользнула мимо, вон из парка.

По дороге на Фатьянку лежала обыкновенная тоскливая тишина. Дуся перебирала в памяти переживания и думы сегодняшнего дня. Весь день сегодня она думала о немногом, все об одном и том же; ругала себя, подбадривала, храбрилась и опять падала духом.

Этот день у нее был особенный, переломный — выработка— сорок метров на станок и выше стала недоступной, как крепость.



Ивановская обл. библиотека Кр. обяз. экз.

Кр. 19. 516

Вчера выработка пала, но немного. Она засчитала себе это упущение за временную передышку. А сегодня опять никак не работалось. Правда, она не знает точно, сколько сегодня выработано, но уж нутро чует, что выработано далеко не сверхнормное: опять что-нибудь около тридцати пяти метров. В эту минуту востеплилось малюсенькое радостное предположение: а может быть и мать, наконец, не выдержала и опустила выработку до прежней нормы?

Но тут же эта радость омрачилась: «да уж, того гляди, она и опустит. Как подняла до сорока—так ровненько и идет». И на одну минуту она возненавидела мать — толстую, сильную пятидесятилетнюю старуху за то, что она живет как бы не утомляясь, у нее всегда одно и то же суровое деловое настроение, всегда ей одинаково хорошо спится и охотно работается.

Злобные размышления были резко прерваны странной мыслью. Эта мысль будто свалилась откуда и так ударилась в сознание, что девушка захлебнулась вздохом.

«А что, если к ней подкатиться ласково, с той дусиной улыбочкой, от которой у парней повышается настроение, а мать всем своим существом впадает в ростепель, и сказать просяще:

— Мамочка, давай помиримся. Я не знаю, что это тогда мне взбрело в голову. Ты, мам, завтра откажись от соревнования — больше, мол, не могу — устала. Мамочка! Дорогая! Сделаешь?! Ладно?!

Но что она на это ответит? Она теперь какая-то черствая, строгая.

— Нет уж, пташка моя, коли взялась — тягайся,—отрежет она.

Я опешу и протяну обиженно:

— Но ведь мне не обогнать тебя.

— Не связывалась бы... Лучше мать почитала. Мы ведь с тобой, пташка моя, не шутку затеяли. Держись!

И в результате что же? У меня надолго испортится настроение, я буду много ругать себя за то, что позволила себе такое унижение. — Нет, нет. Лучше все, что угодно — поражение, насмешки, позор, упреки Балачкина, но только не унижение. Хромой, по-моему, принял совершенно невыгодный для нас вызов. Разве какая-нибудь Дуся Манякова победит, раз упор сделан на опытность, трехжильность, когда такая работа выматывает силы, высушивает жизнерадостность и отбивает пристрастие к производству. Это же совсем невыгодно и вдобавок вредно для нас. Надо бы достигать высокой выработки реконструкцией, изобретениями, упрощением работы, бригадами, когда работа идет легче, бодрее».

Наконец, она добралась до своей квартиры и когда стала стучать в дверь, отметила про себя: — «Еле допинала». Дуся быстро разделась и, поужинав, свалилась спать.

Покой нежно и властно обласкал усталое тело и ее на несколько времени охватило лирическое раздумье:

«Только в одном нашем городе семь больших текстильных фабрик. На каждой фабрике рабочие мужаются, дерзают, борются. Сейчас засыпают тысячи девушек и ребят: одни из них—побеждающие засыпают с душой полной удовлетворения и довольства, другие, как я, присмиревшие, недовольные собой с тяжелым раздумьем».

Рассуждения ее неожиданно оборвались чудесным происшествием. Время, шум в ушах, сладкое томление тела в покое сразу все остановилось и застыло в непонятном оцепенении. И в этой монументальной тишине самый близкий, понятный и сознательный четвертый станок поднялся, фартово заложил руки в карманы брюк и зашагал. Она побежала за ним—посмотреть, что это за чудо, но ноги не слушались — она с неимоверным трудом едва продвинулась на несколько шагов. Но вот у стены он круто повернулся и она уловчилась разглядеть его... Но это был не станок, а Васька Додельцев в том черном костюме, который так идет к его плечистой крепкой фигуре...Она тихо всхрапнула; на сонном лице промелькнула тайная улыбка.

* * *

Секретарь ткацкой комсомольской ячейки, за неимением звонка (собрание происходило в ткацкой конторе), грохотал по столу кулаком и кричал:

— Манякова!... Лапочкина!... Додельцев!... Тише!... Мусоров тебя это не касается что ли... Кудрина, не визжи!...

Шум оказался непослушным и секретарь добавил спокойней и резонней:

— Обо всем успеем поговорить. Времени хватит.

Балачкин переступил с короткой ноги на длинную и продолжал:

— Приходится, товарищи, признать, что в индивидуальном соревновании комсомольцы ткацкого отдела не заслуживают похвалы. Если в соревновании отдела на отдел комсомольцы показали себя организаторами и передовиками, то по одиночке, в индивидуальном соревновании нас щелкают, как куропаток.

— Не знаешь, в каком состоянии соревнование по ткацкой, а взялся делать доклад, — выпалил Додельцев.

Балачкин переступил с длинной ноги на короткую и замолчал, нельзя было говорить—засмеялись, зашумели.

— Как куропаток... Ишь ты какой охотник нашелся.

— Откуда ты это взял?

— На потолке начитался.

— Ты, Балачкин, всегда перегибаешь.

— Да это он так—затравку делает.

— Это верно. Хитрый парень.

Секретарь ткацкой ячейки внутренне был рад, что ребята берут Балачкина в оборот и только для вида стукал кулаком по столу, зная, что эта острастка не помешает им пошуметь и наговориться. Когда выкрики иссякли, невозмутимый Балачкин переступил на длинную и вытянул вперед правую руку, желая сказать этим жестом, что он уверен в своих словах и не ошибается.

— А я вам докажу на фактах. Первый пример — Тамара Кудрина. Будь добра, не визжи, выслушай спокойно. Четыре недели прошло, как ее Люлина вызвала на соревнование, и что же? Как Кудрина ее побеждает? Правда, она краситься бросила, но выработку подняла только на пятнадцать процентов. Второй примерчик будет похлеще. Беру за бок Манякову. Я, можно сказать, на нее, как на мадонну любоваться чуть ли не каждый день ходил, Капитону Семенычу проходу не давал—вот, мол, наши ребята как умеют работать, а она подкачала. Ты, Дуня, не сердись — соцстроительство самокритики требует. Так вот, значит, товарищ Манякова тягается со своей матерью. Правда, надо отдать ей честь, из всех комсомольцев нашего коллектива в соревнование она вступила первой. Тягаться ей было трудно, потому что ее мать прекрасная ткачиха. Старуха сразу взяла высокий темп и далеко оставила дочку. Потом Дуська разошлась, размахнулась и подняла выработку выше матушкиной. Держалась она на этом уровне полторы недели, а потом быстро сорвалась и опустила до прежней нормы. Когда я к ней пристал — почему, мол, такой провал, так она на меня окрысилась и отрезала: «настроенья нет».

Балачкин вздохнул и поднял голос:

— Разве такие слова достойны борца на трудовом фронте? Так, по преданию, только институтки выражались, а комсомолке недостойно так говорить. На что это, товарищи, похоже? Как она тогда сказала мне такие слова, так меня минуты на две в упадочничестве бросило. Но потом я оправился и решил этот вопрос на вашей ткацкой ячейке проработать, чтобы сделать из этого факта соответствующие политические выводы. Товарищи, провал Маняковой тем больше для нас, что на соревнование матери с дочерью было обращено внимание всей рабочей массы нашей фабрики, как на проблему отцов и детей, и еще потому, что это был самый первый вызов, с которого и занялось полымем социалистическое соревнование на нашей фабрике.

— А разве у нас только одни провалы и нет побед? — крикнула тоненьким, но драматическим голоском маленькая чернявая девушка из проборной.

Ее поддержало несколько голосов:

— А Танька Овечкина.

Балачкин встал на короткую ногу.

— А Шурка Ланцова.

— Он всегда на нашу ткацкую нападает.

— Почему ты только темные места берешь.

— Это он для затравки...

Балачкин поднялся на длинную ногу и так громко закричал, что сразу все притихли:

— Это что... Хорошо работающих я вам больше покажу — Коскина, Гречухин, Воронина, но этим, товарищи, вы не замажете передо мной того факта, что другая часть наших комсомольцев, большинство которых — активисты, позорно отстают. Вот они: Додельцев, Наяров, Рябинкина, Голубкина и ряд других.

Он недовольно махнул рукой — дескать, закройтесь уж лучше — и сел.

Слово взяла Дуська Манякова.

— Вот сейчас Балачкин, — начала она горячо, — не разобравшись как следует в вопросе, обругал меня институткой. Когда он меня стал спрашивать — почему я сорвалась, я была в то время очень расстроена и не хотела перед ним оправдываться: мне тогда показалось, что он подходит к человеку смаху. Товарищи, вот почему это так со мной произошло. У матери тридцатилетний опыт, сноровка... Посмотрите, как она работает: и спокойно и в то же время быстро. У нее тело так изощрено в этой работе, что она по стуку станка слышит, что скоро замнет челнок, и одним движением умеет до отрыва остановить станок. У меня этого еще нет и, может быть, не скоро будет. Стараясь лучше работать, я тороплюсь, нервничаю и начинаю путаться и сбиваться. Правда, я на полторы недели подняла выработку выше ее, но работала из последних сил, потом утомилась и дальше не могла. Я грамотная, я кончила школу семилетку и прекрасно понимаю, что так работать, как я работала эти полторы недели, это значит—надрывать себя. А он подходит к этому смаху... И совсем зря ты, товарищ Балачкин, погружался в упадочничество. Я соображаю не хуже тебя.—Если мать побеждает меня выносливостью, трехжильностью, приноровленной закалкой организма, опытностью, я ее хочу бить рационализацией, знаниями, коллективом. Довольно плестись в хвосте, товарищ Балачкин. Ты сделал ставку на наш горб и нас по понятным причинам на многих участках поколотили. Надо переходить на шесть станков, создавать комсомольские ударные бригады, а не ломить по старинному только одним боком. Тогда они на нас и полюбуются.

Комсомолки аплодировали неистово, тонко, — «тенорком». Со стороны парней неслось:

— Вот так Дуня,

— Дуня-я, Дуня-я...

— Тебе бы, Дуня, по радио говорить.

— И э-эх, Дуня, ягода моя.

Она расхохоталась от таких похвал и так шибко села, что стул взвизгнул.

Широкий и насмешливый Додельцев при общем хохоте прогянул Балачкину носовой платок, сказав:

— На-ка, утрись,—на что тот раздраженно ответил:

— Ну, шутки в сторону — убери свой грязный платок — у меня почище найдется. Давайте серьезнее обсуждать. Все обстоит не так-то просто и ясно, как толкует Манякова.

* * *

Это было как раз в день останова фабрики на двухнедельный отпуск и рабочие выходили веселые, праздничные, небольшими группами — получали зарплату и за отпуск. У ворот рабкор продавал стенную печатную газету — сегодня ради такого необыкновенного дня ее брали охотно. Дуся тоже купила газету, а потом на ходу читала ее, часто сбиваясь с тропы и вздрагивая от велосипедных гудков. В статейке «Первые результаты соревнования» — она прочитала:

«...лучшие бойцы на фронте социалистического соревнования премированы: ткачиха Ф. С. Манякова (147% нормы)— посылка на месяц в курортный дом отдыха в Крым, ткачиха М. И. Люлина (135% нормы) — в образцовый дом отдыха «Синий дол», ткацкий подмастерье — В. С. Каплин — дом отдыха «Старая Русса». Участники соревнования с меньшими результатами получают денежные премии: Т. Овечкина — 23 р., А. Ланцова — 17 р., Гречухин — 15 р., Коскина и Воронина по 10 рублей».

Дуся скомкала газету... Ее бросило в жар.

Ничего в этом особенного не было, этого и следовало ожидать, даже больше! Так и должно быть, но, все-таки, какое-то безотчетное недовольство беспокоило ее. И идет Дуся сумрачная и недовольная собой.

Мать пришла раньше ее и уже закипятила самовар, накормила цыплят.

Девушка долго хлопочет у крана — моет голову, ноги и освежает холодной водой все тело, потом наряжается во все лучшее и садиться пить чай.

Странное дело, с матерью не хочется говорить, хотя недовольство и прошло. У крана она опять полюбила свое плотное тяжелое тело и всю себя, пылкую при одновременной рассудительности и прозаичности, отчего опять установилось уверенное и властное над жизнью душевное равновесие.

— Ну, пташка моя, — заговорила мать, — домашничай здесь без меня, а я на теплые воды поеду. Не тоскуй, отдыхай веселее.

Дочь вспыхнула от зависти и обиды и от шевельнувшегося возмущения резко ответила:

— Так ты думаешь, я дома останусь? Ничего подобного. Скажите, пожалуйста, — она уедет, а я дома буду сидеть! Напрасно так думаешь.

— Куда же ты поедешь?

— Куда надумаю, туда и поеду.

— А цыплят-то на кого же я оставлю?!

— Это меня совершенно не интересует. Как хочешь — дело твое.

— Так я и знала... Так я и знала, — всхлипнула мать: — Вот теперь и поезжай на теплые воды. Сердце мое чуяло, что ты мне выместишь. Сегодня мне в фабкоме говорят: — награда тебе — за высокую выработку посылаем тебя на теплые воды.— Не могу, говорю, ехать—у меня цыплята.—А они хохочут.—Ты, говорят, не чуди: дочь их здесь воспитает — приедешь, а они уж выросли, поют...—А я сама себе думаю—как бы дочка-то у меня как следует была... Так и вышло, как сердце предсказывало.

Она вытерла слезы: — как уеду — погибнут мои цыплята.

— Брось ты слезы из-за пустяков проливать, — прикрикнула на нее дочь. — Попроси Цветиху — она прокормит, а потом я приеду...

— Только и остается одна надежда на Анну Ивановну.

Дуся откинулась на спинку стула, как героиня на экране, и проговорила, возвышаясь над матерью:

— Да, Фаина Сергеевна, твоя пташка тоже на две недели улетит.

После чаю Дуся подошла к окну и долго глядела на волю, думала.

Появилось подспудно хранившееся желание размахнуться— развернуть себя, чтобы потом всю жизнь вспоминать—пора уж.

— Проехаться по Волге с Туляковым, — прикинула она в уме и поморщилась: — ничего не выйдет. Не додумается до этого. Не такой парень. — Ну, его! Все вздыхает, приторно целует и толкует о том, что давно уже перетолковано.

И внезапно мысль остановилась на сильном и озорном Додельцеве. «Вот, если бы он такой был, тогда можно бы хорошо прокатиться».

* * *

В саду она заметила Додельцева. Он бродил один-одинешенек — в черном костюме, в белой сорочке; бродил тихо, спокойно, с сознанием собственного достоинства и не то кого искал, не то думал о чем-то. Ей всего больше нравилась его широкая сильная спина и приподнятые прямые плечи. Она крикнула ему ухарски:

— Додельцев!

Он обернулся и остановился.

Она шлепнула ладонью его по плечу и сказала:

— Поздравляю.

— С чем?

— С поражением.

Он невозмутимо промолчал.

— И не стыдно тебе? Ну-ка, подумай, старик тебя обогнал, — подразнила его девушка.

— Если тебе стыдно, так стыдись, — грубовато ответил Додельцев и тут же метнул в нее откровенной насмешкой. — А ты сама-то... Ох... Тоже вызывала. Меня хоть Пуканой сам вызвал. Ну, вот теперь — мать в Крым поедет, а ты дома торчи.

Дуся холодно ответила, что на мать не сердится, но и дома торчать не намерена.

Додельцев засвистал что-то фокстротное. Они шли боковой аллеей парка.

Минуты через две он сбился с тона и бросил свистать. Молчание и такое небрежное отношение с ней Додельцева ее смутило и она попробовала наладить разговор:

— Да-а... Провалились мы с тобой... В общем приятного мало.

Он осмотрел ее с ног до головы и подумал: «В ней не мало притягательного. До сих пор все не хотелось обижать Тулякова».

— Непродуманно как-то все вышло, — добавила девушка.

Она заговорила с большой оживленностью. И странным в первую минуту показался его голос спокойный и веселый.

— Знаешь, Дуська, — я доволен, что так вышло. А когда вспомню Гришку Балачкина — так сердце радуется. Любит парень лезть напролом. Я говорил ему: «Гришка, этот самый наш лихой авангардизм не на фундаменте стоит. Надо перестроить и укрепить производственные ряды — взять ударный темп, организовать бригады... Вооружиться знаниями, свежей смекалкой, подвижностью молодости».

Девушка задумчиво сказала:

— Мне напротив — поражение принесло только тяжелое чувство.

— Э-э-э, нос повесила,—презрительно сказал Додельцев.— Ты переживания свои, Дуська, брось — социалистическое соревнование только начинается... Только началось. Мы еще одержим много побед...

— Я, Додельцев, не об этом... Я все это прекрасно сама знаю, но ты пойми, что это поражение принизило меня на полголовы, отняло частичку уверенности в себе и в своих силах.

— Хрупка ты очень, Овдотья, — опять насмешливо и нарочито грубо сказал Додельцев. — Ты плохо просмолена. Вот когда послужишь в армии, так такой хрупкости в тебе не будет.

«Ишь ты, гордится, что в Красной армии послужил» — подумала Дуся — и проговорила:

— Как ты ни силен, а старичок-то положил тебя на обе лопатки.

Додельцев раздумчиво оборвал свист и произнес с ноткой сожаления:

— Он, конечно, меня переработал, но ведь у него какая политика! Он приверился, пригляделся к каждой мелочи станка. Некоторые части станка он укрепляет веревочками, куда-то вколачивает клинышки, загоняет частички кожи. А я этих секретов совсем не знаю и перед некоторыми поломами ломаю голову до одурения...

Он помолчал и вздохнул:

— А в общем, поражение нам на пользу — сбивает с нас крикливый авангардизм и кичливость своей великой ролью, и потому мне нравится, что нас поставили на свое место. Правда, поражение частичное, но, все-таки, чувствительное. Отдохнуть бы вот эти две недельки посодержательней, да и опять в социалистическое, так сказать, сражение...

Он взял ее под руку и проговорил жарко:

— Поедем-ка, Дусь, куда-нибудь, прокатимся?!

Вместо ответа она весело стала рассказывать, как прошлый год ездили по Волге две ее подруги с фабрики «8 марта» и что из этого вышло. Чутье подсказывало, что говорить о поездке по Волге очень рано — часок-полтора следует об этом помолчать — пока он не разойдется.

* * *

Через два дня Фаина Сергеевна с шестичасовым вечерним поездом уезжала на курорт. Ее пошли провожать, принимая это за приятную прогулку, Цветиха, Рамодин, Катя Овца, браковщица Буздылева, Вася Пуканой.

Минут за десять до отхода поезда от'езжающая водворилась на место и выглянула из окна. Провожающие столпились под окном тесной группкой.

— А ты, Василий Степанович, когда двинешься? — спросила Катя Пуканого.

— Завтра с утрошним.

— Наверное, не хочется старые кости трясти?

— Ну, полно-ка,—возразил он азартно, при этом выпрямился и, поддерживая правой рукой приподнятую грудную клетку, убежденно проговорил: — Я, понимаешь, что-то твердо себя чувствую. Замечаю, что кровь во мне стала шибче ходить.

Катя усмехнулась:

— Значит, поправляешься.

— Обгон обгоном, а сердиться не надо бы, — нехорошо, — бурчал Рамодин, недовольно покачивая головой.

— Фаина Сергеевна,—обратилась к ней Катя.—Слышала-ли сегодняшнюю новость? — Матрену Люлину муж в дом отдыха не пущает.

— Вот тебе и раз. Что это он?

— По ревности не пущает...—Могошь, говорит, ехать, ну, только ко мне, говорит, больше не заявляйся.—Матрена все утро ревела — едва утешили.

— Конечно, робко ему за нее, — понимающе отозвался Пуканой, — баба у него литая, да и в самых хороших годах.

— Обгон обгоном, а мать-то проводить надо бы, — хмуро произнес Рамодин и плюнул на цыгарку.

— Анна Ивановна, так ты уж покорми здесь моих цыплят ток! Век не забуду... Гостинец тебе хороший привезу.

— Сказала — сохраню! И будет сделано.

Прозвенел второй звонок. В группе провожающих появилось волнение, а уезжающая совсем растерялась. От волнения Цветиха пришла в некоторую экзальтацию и проговорила напыщенно:

— Ну и молодец же ты у нас, Сергеиха! Вот как хвалю. И на своем поставила, и жиру нагуляешь, и на все наглядишься. Будут они теперь нас помнить. Знай наших. Только ты, старая, замуж там не выйди.

— Обгон обгоном,—все более раздражался Рамодин, — а сердиться не надо-бы. И что это за дети пошли. Ну-ка, чего себе дозволила — мать не проводила.

— Да что ты все одно твердишь, — удивилась Фаина Сергеевна. — Дома ее нет. Она вчера с Додельцевым по Волге уехала.

— Что это? А будто с Туляковым фигуряла?

— Мало ли что... Поди, разбери вот ее.

Паровоз дал свисток.

Фаина Сергеевна, видимо, что-то хотела сказать на прощанье, но усилие оказалось напрасным; поднесла к лицу платок и скрылась за окном.

*Январь, 1930 г.*
*Иваново.*

*А. БЛАГОВ.*

# НИКИТА.

Вступленья не надо—
К чему волокита.
Пожалуйте в строчки,
Товарищ Никита.
Шагайте смелей
Через интервалы—
Вы, кажется мне,
Человек бывалый.
На „Красную Талку"
По утру рано
Вы гордо идете
В тужурке рваной,
В калошах, что куплены
На толкучке
За рубль, уцелевший
От получки.

* * *

С похмельной башкой
Не работа—уродство,—
Уж где тут Никитам
Крепить производство;
Для них интереснее
Всяких бригад
От лавки Госспирта
Брести наугад,
Брести и не помнить,
Что за день пропиты
С последней полтиной
Талоны нарпита.
У пьяницы мысли
Здоровой нет:
Пусть отдан за горькую
Сытный обед,
Пусть завтра простуда
И кашель, и кашель—
Зато он сегодня
Поет и пляшет.
Пляши, веселись,
Заходи в пивную,
Валяйся на улице
В сырь ночную—
Вся грязь упадет
На твои же плечи...
С таким багажом
Не уйти далече.

* * *

Но вот где беда—
За пьяные ночи
Никита себя
Обвинять не хочет:
— Не я тут, конечно,
А жизнь виновата—
Она наступила
На нашего брата,
Да умные люди,
Что жизнь эту строят,
Иначе бы водку
Сменил на ситро я.
Не ценят меня
Ни фабком, ни ячейка;
В газету пишу я
Статью за статейкой,
Даю предложенья
И все не в зачет—
Заснула зарплата,
Вперед не течет.

* * *

В стране небывалых
Великих побед
Рабочего имени
Выше нет.
Почетнее званья
Никто не знает,
Труду—все дороги
В свободном крае!
Но дорог труд
Только честной руки,
А в думах Никиты
Растут сорняки:
— Куда это, к чорту,
Торопятся люди?
В их спешке добра,
Как в порожней посуде...
Бегут вперегонку
До... красной доски:
Натянуты жилы,
Набухли виски;
Какую-то странную
Сеют заразу...
Нет, жизнь перестраивать
Надо не сразу:
Чтоб веская плата
И легкий труд,
А с этого люди
Назад попрут;
У них тоже сила,
Поди, не воловья...

Мы лучше уж выпьем
За наше здоровье!

* * *

Так бродит Никита
По ямам, по кочам,
Себя величая
Почетным рабочим.
Добрел он случайно
До партии даже,
Но выкинут был
В кандидатском стаже;
И критик ехидный
Чужих заслуг—
Он нынче кричит
Под машинный стук:
— Кому предпочтенье,
Кому—вниманье?
За подвиг какой?
За какие знанья?.
В германском плену
Я не падал душой...
Там видел я много
Культуры большой.
Там вин виноградных
Полны погреба...
Меня не пугала
И наша борьба;
В гражданскую я
Отслужил свой срок...
Я знаю пол-Пушкина
На зубок!..
Я в бога не верю!
Попов насмарку!..
А мне на заводе
Повысили марку?
Меня отличили
Немного хотя б
От серых Иванов,
От глупых баб?!..

* * *

В такие минуты
Не спорьте с Никитой;
Заслушайте молча
Доклад ядовитый —
Причина понятна,
Причина проста —
Оратор получку
Спустил дочиста.

---

## КВАРТИРАНТ.

Сидел на собраньи, повеся нос,
Убитый мечтами суровыми.
Но вот на повестке
Квартирный вопрос.
— Дозвольте, товарищи, слово мне.
Квартирный вопрос,
Это—наша беда;
Я сам от квартиры мучаюсь—
Негодную можно найти без труда,
Хорошую—только по случаю.
У нас общежитий—десяток-другой,
Для города цифра убогая...
От частной квартиры страдает порой
Не только карман—психология!
Квартирным ненастьем
Не мало путей,
Не мало желаний завьюжено...
Скажу слова два
О квартире моей
(А было их за год... полдюжины):
Хозяйка—мещанка: молитвы, грехи;
Со сплетнями спит и обедает...
Хозяин—душа—
Любит даже стихи,
С газетами часто беседует.
Но вздумай, бедняк, на защиту встать
Советов или кооперации—
Жена отлупцует больнее хлыста
Ехидной и долгой нотацией:
„А масло-то где, а крупчатка где?..
Молчал бы, дурак, себе в бороду...
Я раньше и дня не живала в нужде,—
Теперь подыхаю с голоду.
Подумаешь, тоже защитник какой!..
Да сгинь ты с порядками этими!..
Дадут в потребилке крупы с мукой
И в книжке тебе отметили.
Бывало колодец водой напоит,
Водица, как со льду, хо-о-ло-о-о-дная,
Теперь вон на улице тумбой стоит
Колонка водопроводная.
Мука—не крупчатка,
Вода из трубы,
А деньги берут без стеснения...
Сидите—в газету уставили лбы;
Что пользы от вашего чтения?..“
И так ежедневно, пилит и пилит.
Мне тошно, хозяин хмурится;
Под вечер от гама башка заболит,
И я вылетаю на улицу.
Мещанская гниль,
Обывательский сор—
Позор для рабочего города!..
Пускай же грохочет
Строитель—топор,
Как дни наши, буйно и молодо!

---

## ОДНОМУ ИЗ ПОЭТОВ.

*Посвящается Д. Семеновскому.*

Не завяжем мы дружбы тесной
И знакомства сотрется след;
При погоде самой чудесной
Не найдем мы согласных бесед.
Заскулишь ты—поэт меланхолик,
Разливая тоску и лень:
— Хорошо бы из города в поле
Убежать в золотистый день.
Пусть бы лапти, армяк и онучи,
Только ветер бы дул от полос—
Черный город до боли замучил,
Черный город наскучил до слез.
На задворки родного селенья,
На тропинку, что в рощу манит,
Променял бы я без сожаленья
Все, чем город большой знаменит.
От заводов и фабрик текстильных
Потемнела лицом синева.
Без расцвета на улицах пыльных
Умирает весною трава.
Жизнь такую я ставлю в кавычки,
И не каюсь—суди, не суди—
Ни любви к ней, ни даже привычки
Не созреет в живой груди...
—Понимаю тебя, понимаю,
И тебя, и твои мечты:
Улыбаться рабочему маю
Не учился у жизни ты.
Как же, как же ты можешь поверить
В полноводную радость труда,
Если дальше квартирной двери
Не видать твоего следа.
Если думы твои—одиночки
Не созвучны великой борьбе,
Если ласка весны и цветочки
Нашей стройки дороже тебе.

*Иваново-Вознесенск.*

---

*А. АЛЕШИН.*

# ЛОШАДИНАЯ ЭПОХА.

РАССКАЗ.

Конь падет и седок пропадет.
(Старая пословица).

## I.

Сегодня—получка, значит, на Поперечной улице будет скандал. Егор Кашанин, по прозвищу Дутый, будет костить ткацкого мастера Коникова, а затем, по обстоятельствам глядя, или будет в подвале «кашанов» сражение, или все кончится по-хорошему.

Мальчишки с Поперечной нетерпеливо бегали на угол Улицы Демонстраций, вяжущей фабрики с центром города, и даже карабкались на занозистый забор «Гостекстроя», взглянуть, не идет-ли Кашанин...—Идет! Эй, ребята, идет!—надрывался самый озорной, глазастый мальчишка и для убедительности называл себя «легавым», «гадом» и прочими терминами, вескими в мальчишеской среде Попоречной.

Идет. Он,—безошибочно. В фабричном районе не много проживает людей корпусного сложения и, к тому же, способных в дни получек двигаться сверхоригинально: с бранью по адресу обидчиков и с пением божественного. Чтобы вполне насладиться зрелищем, мальчишки провожали Егора в расстоянии, не позволявшем мутному его взгляду усмотреть новых врагов.

... Ты домовладелец, даминистрация, а я рабочий, физически, но я против тебя не сдам. Ни-ког-да!.. Меня командир батареи производил в кузнецы, значч, он понимал во мне талант... Я могу добиться слесаря и выше, но я не хочу выделяться против своих товарищей... Я знаю, ты бьешь на хитрость, а я на силу... Разражу!... Сломаю и опять составлю! Душу вышибу всем мастерам, машинистам, выдвиженцам... в том числе...

Так двигался Егор, потрясая кулаками, лязгая челюстями и слякотно матюкаясь. Встреченные принимали его угрозы на свой счет, но изблизи видели, что взгляд его ручьится через их головы,—и брезгливо сторонились. Маша Ушнова, внушительный милиционер, охраняющий «Гостекстрой» по совместимости с постовой службой, затоптала башмаком цигарку и басовито

пригрозила:—Кашанин!.. привод нагуляешь! — Он вытянулся и сделал под козырек.

— Виноват, товарищ милиционерша... Становясь во фронт и проходя смирно... Бомбандир-наводчик первого дивизиона тяжелого графа Заамурского... С головы признаю, а ниже извиняюсь... по половому расхожденью!

Свернув на Поперечную, он затянул:—«Тебе бога хвалим, тебе господа исповедуем!» На последнем слове его сиплый бас вывел такую закорюку, что во дворе Коникова подвывно отозвался гончар «Трясило». Мальчишки тоже включились в действие, подбегая к Егору:

— Тебя бога схватим, тебя господа изуродуем!

Егор обернулся, и мальчишки брызнули от него на средину улицы, на расстояние, определяемое смелостью каждого. Егор всматривался в них тяжело, медлительно, словно в воробьиную стаю.

— Вы!.. цветы революции, копейка штука... Молчать! Которые тут мои жулики?... Мои арестанты—ко мне!

Покамест мальчишки, подскакивая, кричали: «я!... я, дядя Егор!.. я, Дутый»!—ему приспела очередь облегчиться от нагрузки, полученной в пивной. Для этого он скрылся в первую калитку. Мальчишки через калитку закидали его снегом. Он вывернулся и, незастегнутый, осатанелый, топал за ними по улице... Задохнувшись от бега и ругани, он потерял направление и пошел обратно к улице Демонстраций. Но не дошел до нее...

Из калитки дома Коникова выбежал Андрей. Он недавно перерос из мальчишки в юношу и первый год упражнялся в перехватывании отца, сменив в этом мать. Превозмогая злобу и стыд, он перехлестнул улицу сухопарой ног, пробасил: «идем, чего тут разгулялся!» но взял отца за рукав робко, почти просительно. Мальчишки осерчали на прекратившееся удовольствие и перекинули озорство на Андрея,—кричали:

— Андрюша Старый!.. Шкилет двадцать лет!.. Правило свинью задавило!

Андрей обещал нарвать им уши. Но все-же, в мальчишеских криках была меткая, острая правда. Она была тем разительна, что отец и сын Кашанины, толкаясь среди улицы, показывали ей свое несходство. Из медвежьего тулова Егора можно вытянуть два жидких, нестановитых тела, которым обладал Андрей. К тому же, Егор был в пальто и брезентовике, а Андрей выбежал в рубашке. Костистое, заморенное, с преждевременными надбровными складками и крупным, старящим носом, лицо Андрея казалось начальным, робким слепком с водянисто-серого, дутого отцовского хайла. Глаза Андрея, покатые, орехового цвета, господствовали над лицом; глаза Егора шевелились в подлобных ямах, как студень на дне котла. Общее составляли у них руки, длинные, чуть вывернутые вперед: у

отца—от работы, от соприкосновения с кладями по обязанности фабричного возчика, у сына—по наследию и, отчасти, от желания скорее овладеть рулем авто. Он кончил шоферские курсы, и правилом мальчишки дразнили его за то, что на учебных занятиях переехал он поросенка.

...Идем домой. Мало того, что напьешься,—еще спектакли устраиваешь.

— Прочь! — и с одного взмаха отцовской руки Андрей отшатывался шагов на пять. — Ты кого берешь? Ах ты... машинист, нашейник, сукин сын... Да ты касаться меня не достоин! В тебе чья кровь, моя, али...

Андрей дважды, трижды брал отца за рукав. Его молчаливая настойчивость покоряла пьяного, и в конце-концев Егор соглашался:—Идем!... Этот вопрос я поставлю другим людям... Либо страдать, либо каяться, ну-ж... ладна!..

Повторяемость этого спектакля с годами превратила его в трафарет. Он имел две концовки, зависимо от того, что ждало Егора во дворе. Для мальчишек, наблюдавших Егора в расщелину калитки, самое скучное было, когда встречал Егора Коников.

— Опять?—упрекал он жильца, качая головой. —А зарок? Ну, смотри. Если ты хотя-б пальцем тронешь семейных—завтраже прошу директора прогнать тебя с работы... В газету напишу. В суд подам, по-ка-за-тель-но!... Слышишь?

Затем он приближал к Егору желтоватое, начисто бритое лицо, усиленно двигал медными, вьющимися кверху бровями и гудел: —Я дал тебе клятвенное слово... Катерина чиста... честнейшая женщина. А ты... я тебя раскусил! Ты, просто, пьяница, скот. Не сам ты ищешь ответа, а пьянство твое ищет оправданий. Молчи!.. Иди проспись и чтоб завтра быть на работе, как свечка... Надоело мне это за 19 лет!

И они расходились по квартирам.

На этот раз мальчишки наблюдали иную картину. Из корридорчика, ведущего в подвал, один за другим выскакивали детки Егора, удирающие от отцовской грозы. Мальчишки перебирали их по прозвищам:

— Во чешут! А-а, заскакали, кашаны...Во, Линявый прямо в сарайку мырнул. И с одеялом, ночевать думает. Во, Головастик выскочил... Головастик, сыпь сюда! Не бойся, валяй мимо забору, не пымает. Валяй, он не видит... Охх, глядите: Скороход. Во, ха-ха!.. хлопнулся. Маткин валенок за порог задел... и шкерки свалились, мать свою так... В одной рубашке, и прозяблит-же его в сарайке!

— Брось-ка, он прямо к Кониковым, маленького завсегда примут.

Но вот Егор скрылся в мурье корридорчика. Мальчишки цепью рассыпались по тротуару, упали на животы и вонзились

глазами в провалы низких окон, хранивших местами летнюю грязь. В подвале почти круглые сутки горело электричество, и поверх линючих занавесок было видно, что происходит в подвале.

— Махается...Во сейчас хлестнет!.. Нет, только стол отворотил... Самовар, видел как кувырнулся?... Во, книги сошвыривает... Тетка Катерина чего-то ему подносит. Чего? — вина!.. Старый книги подбирает... Выпил.

Последнее мальчишки произнесли разочарованно и враз поднялись на ноги. Спектакль кончен. Выпив, Егор вальнется на кровать, попоет «тебе бога» и уснет. Андрей выбежит гнать мальчишек от окон, а потому лучше от кониковского дома убраться...

## II.

Вечером, когда Егор спал невпробуд, пришла в подвал бытовая комиссия. Катерина с детьми сидела за самоваром, но чаевничали только дети, обычно ссорясь за сахар. За день Катерина сделала множество дел,—стирала на немцев, уставляющих машины на новой фабрике, примывалась в яслях, относила по просьбе домохозяйки творог (Коников имел корову) на квартиру механика, в центр города, готовила... и еще что-то делала, о чем она уже не помнила. За вечерним чаем, согревшись, она обычно дремала, считая, что такой отдых лучше сна восстанавливает силы. Появление в подвале людей с портфелями словно холодной водой окатило ее. Она погнала детей с табуреток, освобождая место пришедшим, но один из пришедших, тот, что сказал «здравствуйте», удержал ее:

— Пусть сидят. Мы не гостеваться пришли, а по делу. Разве, вот, товарищу место потребуется, кое-что записать.

Этот человек расположил Катерину скромной вежливостью и до единого звука близким, мягко-круглым произношением. «Где-то я видела его?—навязывалась Катерине догадка:—то ли коло фабрик, то ли в клубе на примывке?» и тепло, спешно предложила:

— А вот сюда, на табуретку... — шаркнула по табуретке ладонью. На стул бы, да стулья-то у нас, извините, несамостоятельные. От стены отдать, так и рассыпается.

Она доложила комиссии о качествах подвала, проверенных жизнью, процеженных сквозь женское, материнское сердце.

— Дети не растут, замерли... вот они, гляньте: как святые...

Андрей хмуро отвернулся к простенку в вымокших родовых фотографиях по Егоровой линии, а прочие «святые» смотрели на пришедших так открыто, словно ждали себе по прянику. Электричество смягчало их головастость, рахитичную худобу, но и это впечатление было слишком определенно. Участвующая в комиссии полнотелая, прямая работница звучно вздохнула.

— Когда не топишь—сырость, аж до костей прохватывает. А натопишь—угар, испаренье, как в бане,—поясняла Катерина. —Уж привыкши за 19 лет и то утром встанешь, как чумовая. А по началу, когда в'ехали, голову ломило, как в тисках. Есть-ли у кого такая жизнь—не знаю, ну что касается нашей квартиры... снизу холодит, от стен можжит, сверху вода после примывки и дух... не приведи бог!

Когда показания были запротоколены, вежливый предложил Катерине подписаться. Она вытерла руки подолом и взяла карандаш... Ощупью, памятью о ликбезе нацарапала связку из восьми букв: «Кашанина». Затем ей об'явили, что подвал будет заколочен, что придется наскресть задаток пая жилтоварищества. Катерина испугалась.

— Нет, товарищи. Как же это?.. Нет, я прошу вас не заколачивать. Уж пожалуста! Хоть сколько еще дайте здесь постоять, хоть полгода. Большое бились, а малое пробьемся...

Работница выдвинулась вперед и направила в Катерину твердые глаза.

— Что вы, гражданка, вдруг попятились? То—«угарно да холодно», а как до дела дошло—сжались. Так негодится. Мы для вашей пользы стараемся, а вы срываете. Это не по-рабочему получается, а... просто даже затрудняюсь сказать...

— Вот и я затрудняюсь,—подхватила Катерина. — Ты, милая, по фигуре-то, легкая ходишь, а у меня шестеро деток, да вот еще...—Катерина сбавила голос и указала на кровать:—вот оно лежит, горе неуносное... Не знай, осталась ли у него от получки хоть копейка. Так, что задумаешься в паи вступать... Мне бы пока одного, старшего на дело поставить, а там...

— И сейчас можем подписаться, — сказал Андрей комиссии. — Я кончаю, остается сдать расчет грузовика, а там проба, так уж это с зарплатой. На «Основу» прибыли три машины, кто окончит по первой группе, тот и попадет. На бирже — ни шоффера.

Дальше, затем-ли, чтобы скрасить отсталость матери, или затем, чтобы установить с комиссией классовый контакт, Андрей пошутил:

— Лошадиная эпоха сматывается!

Комиссия просветлела. Катерина, заметив это, впала в умиление.

— Он у меня веселый, — нахваливала она сына и тем смазывала его тонкую, тактическую линию,—книжки читает, старается. Вона книжек-то полон подоконок, да еще в «горке», внизу...

Андрей смутился и оборвал ее:

— Ладно тебе... Хвалится пустяками!—Вежливый строго заметил Андрею:

— Почему — пустяками? Книги не пустяки... Ты, товарищ, не достаточно понимаешь жизнь... Вот за это, действитель-

но, надо смущаться,—вежливый ткнул рукой к кровати, в гнусящий, булькающий храп Егора, — это есть старое, прогнившее, не наше... А за свою мать ты должен гордиться. Проживши в таких условиях, редкая женщина сможет иметь в себе мужество, которое...

Он туго морщил лоб, шевелил пальцами перед прижмуренными глазами, но веский, густой эпитет не давался... Недосказанное он передал Катерине крепким рукопожатием, теплотой глаз и заурядной фразой: — Твоя линия правильная!

Катерина восприняла это, как благодарность за всю многотрудную, сухотную жизнь. Ее просили не провожать, но она настойчиво повторяла «встречать-бы надо!», жгла в сенцах спички и предупреждала комиссию о выбоинах в лестнице и косяках...

— Мой троя... врешь, ты рубь закла... о-оxx! — душили Егора алкогольные видения. Семья даже не взглянула в его сторону. Страх, повторенный тысячу раз, превращается в равнодушие.

Все привычно, давнишне, старо. Издавна, — начало забылось, — тянутся в подвале Кашаниных две жизни. Одна в заботах о куске хлеба, в борьбе за здоровье, которому угрожают дыхание подвала и взрывы дикой души Егора. Другая смягченная, согретая надеждой на лучшее завтра.

Бывает летом: сутки, другие висит над землей ненастье. Мрачные, встрепанные, как на драку, бегут облака и падает, падает дождь. Все измокло, озябло, устало от влаги. Приннзли, состарелись дома. Мокрые деревья глядят в небо тысячами глаз—листьев и спрашивают: когда конец дождю? где солнце? Но вот ветер прочистил в облаках розовое окно, вот показалась синь,— и все живое возринуло: конец ненастью! Зачирикали воробьи, вышли курицы клевать размокших червей-дождевиков, выбежали мальчишки пачкаться ради мечты о морях, кораблях и великих запрудах... жизнь продолжается.

И вот такую жизнь—просвет расчищали мать и сын Кашанины. Они словно ширмы ставили в подвале, чтобы отгородиться временами от сырого, пьяного, буйного в уют своего мирка. Основала этот мирок Катерина.

Дочь фабричного района, она впитала в себя все тяготы, всю нескладицу его жизни. Поперечная улица совершила над ней злое дело. Ее, сироту-девушку, устерегли ночью парни, протокольные головы, захлестнули рот платком, затащили в сарайку... Ложный стыд принудил Катерину скрыть преступление. Кроме насильников, только двое знали это: Коников, пришедший в сарайку на плач Катерины, и Егор, которому она не могла не рассказать это перед свадьбой. Как нефтяное пятно по воде, расплылась по фабричному району молва о Катерине... и она покинула фабрику. Позднее, с житейской мудростью, за чередой охлаждающих лет, Катерина увидела: зло не в Поперечной улице, а

глубже... С годами фабрика—насмешница изменилась до неузнаваемости. И, к тому-же, жизнь складывалась для Катерины так, что и помимо молвы пришлось бы уйти из фабрики: родились мальчишки, недомовитый народ.

Но старой обиды хватило Катерине, чтобы невзлюбить Поперечную и подняться, взмыть над ее дикими страстями. Как голодный мечтает о самых вкусных яствах, так и Катерина возмечтала сделать Андрея нимало непохожим на соседних парней. Это было тем трудно, что Егор пил, но даже и это обстоятельство помогало ей: образ мужа служил ей трамплином для борьбы за будущее Андрея.

Как она боролась!

И строгостью, и ласковыми уговорами доказывала она сыну, что легкое всегда можно поднять.

— Она сто лет — и все фабрика. Если ученье не задастся— пожалуйста, ворота открыты. От году фабрику расширяют, народу только давай. А вот на машине не всякому ездить, поучиться надо!

Андрей увертывался.

— У других ребят одежа есть, а мне на улицу не выйти... Завтра бы я поступил, а через две недели получка, чего бы себе завел. А учиться... ты знаешь сколько частей в моторе, не считая дерева...

— То-то вот ты — дерево! Что тебя сразу посадят, да и поезжай? Не вдруг. По частям все части разучишь. И на фабрике не сразу на станки встают, тоже практикой доходят. Это только отец без практики: запряг, хлестнул и все. Так ты гляди, много-ли в нем хорошего?

Затем она улыбалась и фантазировала.

— Дурак, зато приволье какое! По любой улице кати, весь город твой. На вольном воздухе, здоровье... А девиц-то... Чего ухмыляешься? Я говорю всюрьез. Я видела одного шофера. Весь в кожаном, рукавицы жамшевые, по локоть, глядеть приятно. Идет, а его с боков две так и обжимают, так и стрекают в него глазищами. «Вася, идемте сегодня в кино. Вася поедемте на лыжах». А он наездился. Ему наплевать на все лыжи и на волосы рыжи, за ним и не такие ухлестывают...

Она разыскала бывшего преподавателя греческого языка, по-дешевке подучила Андрея математике. Она исчеркала ногами все учреждения, от которых зависел прием Андрея на курсы. И в учреждениях долго помнили такое: женщина в разлезшемся сером платке и ватной коротайке выгоняла живость на свое худое, прозрачное лицо и докладывала нараспев: «Дотого привержен, что спит и видит себя шофером. Смелый, характер резкий, пополам пере... Тьфу! чего я говорю: не уступит!»

Учебники, готовальня, чертежная бумага,—все было добыто для Андрея стиркой, примывкой, побегушками. Егор почти не

догадывался о значимости этих вещей. Они не укладывались в его представлении, как полезное, отчего будет семье подмога. Эти вещи, вторгаясь в узкий круг его образов, беспокоили его, как мелкая кость—в горле. И все же, не веря в учебу сына, он хвастал в кругу возчиков: «Андрюшка мой на шофера добивается. Учу и сам не знаю чего получится». Однажды в пивной, терпеливо дежуря возле мужа, Катерина слышала такое —и вздохнула облегченно. Она смела бы сказать: «На работе маюсь, вот и добивается. И получится!» Но она по-своему любила Егора и часто отстаивала его от нападения сына.

— В такой век зародился. Все были либо пьяницы, либо спивающие. А ты не моги говорить такого. Плохо ли, хорошо ли,—он тебе отец. Наплевать, что тебе до него? Ты его не исправишь и он тебя не направит. У него свое дело, у тебя свое. А что буйничает, так это—болезнь, помраченье в нем с вина... А ведь вот он все-таки старательный, не прогульщик, и трезвы-ет что-нибудь и дельное скажет.

...Проводив комиссию, Катерина постелила деткам на полу, укрыла их, затем деловито спросила Андрея:

— В клуб не пойдешь?.. Не ходи. Подучивай лучше которое не сданное. Да и на улице нехорошо, вьет,—глянула в окошко, по фасаду, куда загибались с улицы снежные языки. Она наклала чурбашков в железку и задумчиво прильнула к столу...

— Давление колеса прямо пропорционально весу частей, заключенных в плоскость его опоры...—Вдруг Андрей оторвался от тетради и сказал матери:—Гражданин, поросенок которого... шестьдесят рублей заправил с заведующего курсами.

— Ну?!.

— Ну, ясно: послал его заведующий к чорту. Да еще судом пристращал: не распускай свиней по плацу.

Катерина облегченно вздохнула.

— Правильно... А ты другой раз гляди куда едешь, невнарок и человека задавишь... Слушай-ка,—Катерина качнулась к сыну и перешла на шопот, выразительно глянув в потолок:—как у тебя с Олей-то?... разговариваете?

— Мало... За ней химик вьется, практикант с «Искры Революции». Да ну что: мастерова дочка.

— Дурак! фофан! Да ты что—безработный—принижаешься? Ты не смотри, что под ними живем, это нынче не усчитывается. На работе и ты заправишься не хуже того химика. Не уступай. Ежели всякой трясущей сопле уступать—на дорогу не выбьешься. Ты на химика сам будь химиком, тебе—жить, твои годы не под гору, а в гору.

Дальше она говорила умоляюще:

— Она умная, Ольга, приятная... и с отцом ты меня уладишь. Андрюша, родной, ты знаешь, тебе нечего сказывать. Всю жизнь он меня попрекает, не знай с чего. Но вот далось ему в башку,

будто я с Сергеем Платонычем... будто ты—от него... А я поклянусь тебе,—за руку с ним не здоровалась! В подвал он меня пустил из благодарности по просьбе Анны Васильевны: я им прежде, в девицах, помогала, просто сказать—вместо прислуги... А ежели бы породнились, тогда уж, конечно, не укоришь: брат на сестре...несовмещаемое дело!

Андрей хмуро смотрел на фотографии и понимал: вот зачем старалась мать добыть в деревне карточки дядьев, носатых солдат с длинными, вытянутыми по швам руками, вот почему в конвое солдатских карточек—его,Андрея, миниатюрка...

Катерина считала секунды, ловила каждый вздох сына, каждое движение светотеней на его профиле... Вот тени кинулись в сторону, и сердце Катерины сладко сжалось...

— Ладно,—сказал Андрей.—Когда кончу курсы—я переговорю с Ольгой прямо, по-пролетарски... Если выйдет, то выйдет так... или никак! Мне об женитьбе меньше всего приходит, я только для тебя. Умная ты, хорошая, но вот, чорт возьми,—Андрей поднялся, хрустнув коленками,—чтобы тебе все сразу: и учиться, и жениться, и с отцом мириться,—все в одну точку свесть!

— А то как же? В жизни, милый мой, и все так: ноша за ношу заходит. Одну снесешь—две на загорбок лезут. Я сколько сносила их, да ничего мне и не сделалось, все такая же. Мне сорок слишком, а я несу... А ты, дурак, молодой, а гнешься. Недаром тебя мальчишки стариком зовут, стыдись!

Андрей гневно шагнул к матери, но кровать заскрипела всеми суставами, и союзники притихли. Егор с кряхтением, словно в нем раздирали нутро, поднялся и попросил пить...

## III.

Утром обоз «Основы» пошел с мануфактурой на станцию. Стояла станция за рекой, в увале лесистого нагорья, и заключала железнодорожный отросток, издавна прозванный «апендицитом».

Обоз шел полной кладью, 3-4 тонны на дугу. Небо пылало холодным пожаром восхода, но было низко, гнетуще, как всегда в краткоденствие декабря. Дорога значилась вешками, застывшими в поклоне улетевшей вьюге, да кусками полозняка с вмерзлым в него калом и конскими волосинками. Кругом, кроме обоза, не было живого, только иззябшие за ночь галки гуськом, боком неслись над снегами к деревням.

Обоз шел трудно, врастяжку, перестывший снег с визгом противился полозьям и раздирал у дымящихся лошадей мышцы. Возчики, держась за окорчья дровней, месили валенками целину и в мути утра обманчиво выглядели богатырями.

Егор Кашанин шел в голове обоза. Он хрипло матюкал дорогу, контору, станцию,—бродила в порочном его сердце утрен-

няя, похмельная злоба. На береговой горе она утроилась: подчиненная Егору, гнедая жеребая кобыла Ступа встала. Нервная и старательная, как и все кобылы, до сих пор она работала без кнута. Но когда задние возчики стали об'езжать Егора, он взбесился и перехватил кнут...

— Ну-ну! остерегайся... душу, сердце... обедать здесь я буду что-ли?!

Издергав, испоров Ступу, он старался достать ей кнутом до сосков. Ступа гневно прикладывала уши, оглядывалась, фыркала, била в оглоблю левой задней... Пожилой прохожий остановился и с минуту наблюдал поведение Егора. Со стороны прохожему был лучше виден и понятен взгляд Ступы, и он передал ее просьбу Егору:

— Слушай, дядя, напрасно ты рвешь лошадь. Переложи кипы две и пойдет.

— Переложи ты в правую штанину... учитель!

— Дурак. Обрюзглая морда. Законов нет на вас, чертей!..

Покамест люди переругивались — Ступа тосковала. Обоз уходил, а она одна здесь, на подножьи горы; никогда не было такого позора со Ступой, водительницей обоза!.. И она не вынесла одиночества. С храпом, с неистовым рвением осилила она гору и догнала обоз у ворот товарной станции...

В обед она заболела. У ней зябко задрожали ноги, глаза остеклились слезой, ноздрями кинулась «дурь»... Заведующий обозом приказал Егору распрячь ее и поставить в стойло.

Через час приехал ветеринар, словоохотливый старик с мягкими впадинами вместо морщин. Он назвал Ступу «гражданкой», прощупал ее, несколько раз отступал, чтобы оглядеть ее издали, поверх тяжелых пенсне, словно намеревался боднуть ее сразбега в крутой бок, и определил недуг:

— Женское... пройдет!

Возчики заухмылялись в обкуренные усы. Но вдруг пенсне ветеринара взлетели кверху, а выцветшие, но еще четкие глаза его покалывали возчиков уже из-под стекляшек.

...Но! друзья мои, запомните, что между жеребой кобылой и беременной женщиной разница лишь в названии, да-с. Твоя жена,—ветеринар ткнул пальцем в брезентовую, заскорклую грудь Егора Кашанина,—существо разумное, она знает, что тяжелое ее погубит, а лошади это не дано; она вверяет свою судьбу тебе человеку, и ты не должен это забывать, да-сс, не должен!

Егор с трудом отвел глаза от быстрых стекляшек ветеринара и полез за куревом. Ветеринар, словно мелкую покупь из кармана, выкладывал примеры о заезженных лошадях, а Егор, слушая его, хмурился и ощущал желание уйти... Он ненавидел ветеринара за тайную правду, до которой тот еще добирался.

«Прямо на меня упирает, — думал Егор, косясь на ветеринара, склонившегося над чемоданчиком с медикаментами:—ты

и ты... видел что-ли? Да нет, не должно: рано... С поезда нешто, так в этот час и поездов не бывает? Ах ты, дьявол старый. Они, что из дохторов, что из технической этой даминистрации, страшные примечательные. Ну, тем живут!»

Дальше злобствовать причины не было. Ветеринар к Егору не возвращался; он уколол Ступу мышьяковым шприцем, посоветовал выдержать ее сутки трои в стойле, на легких кормах, подхватил с сугроба чемоданчик, тронул на голове шапку-пирожок и уехал.

Возчики ушли к лошадям, и только Егор, оправив Ступу, задержался возле конюшни. Его одолел столбняк, то неизъяснимое, что бывает с человеком, лишенным привычки, что бывает с обдержанной птицей, выпущенной на волю: что делать? куда лететь?.. Мимо конюшни прогнали к кладовым три подводы. Возчики кричали Егору взбадривающе:—Не тужи, у конторы хватит!.. Поправься лучше после вчерашнего!.. Нас помя...

Дальше крик смешался с гулом фабричных корпусов, с покашливанием паровой, мягко обмывавшими уши Егора. Взглянув еще раз на ворота конюшни, он вздохнул и пошел в контору, оформить простой.

Егор поступил в фабричный обоз 18-летним парнем, после пожара в деревне, после нищенства на городских улицах: «Подайте ради христа погорелыем». Коников, встретив его на улице, поразился контрастом приглушенного, христарадничающего баса и здоровенного крестьянского тела; направил его в фабрику, а вскоре женил на Катерине, за свой счет отделав молодым подвал.

Полгода Кашанины жили тихо. В праздники Егор или пел в церковном хоре, или ходил в «стенку», фабрика на фабрику, славился за кулаки и получил от управляющего фабрикой подношение. Он втянулся в круг возчиков, научился от них хмури, едким, скупым, простеганным матюками разговорам. Едкость была здоровяку-Егору несвойственна, но она господствовала в новой его среде,—и надо было попадать в тон, играть... К тому же, едкость скрашивала нищенское прошлое, которым возчики часто его покалывали.

— Говоришь, погорелый? А, дурово варево. Правда говорится—есть сила, да ум откусило. Физически ты—чорт, а догадки у тебя... ну словом, поглядывай за бабой, как раз удружит тебе подмастерья: чего-то Коников к тебе добер.

Они не догадывались, что совет их петлей захлестнет жизнь Кашаниных.

Войну Егор провел в артиллерии, изведал ярость боевых перегонов. Но от нищенской поры несмываемой татуировкой осталось в нем равнодушное, подчиненное отношение к жизни. Он ничего не хотел, никуда не стремился. Не пошел в кузнецы, по совету командира батареи. После, в годы революции отказался от заве-

дывания фабричной баней: «На кой мне сдалось отвечать за чужую грязь. Это пусть партийные стремятся, а наше дело—помылся и чай пить!

Его удовлетворял спокойный, невзыскательный минимум запросов, а для идей, для борьбы его мозг был тяжел и груб. Он принимал жизнь, как подачку извне, как черед дней, месяцев, лет, установленный сильными, чье имя «власть», «право». Подчиняясь этой силе, Егор запрягал Ступу, валил кладь, ехал, распрягал... Бессмысленная механика работы так воплотилась в него, что даже свое, интимное он принимал, как извне установленный долг: обзавелся скарбом не лучшим и не худшим того, что был у приятелей, пил с ними в дни получек и хвастал пустяками, однако, имеющими в компании успех, — тем, как вчера трещала башка и как ругалась баба за пропитое.

Он ничего не читал, на собраниях бывал дважды в год, по тарифным вопросам, в политике ориентировался с чужого голоса и потому не видел хорошего: о хорошем в его кругу или молчали, или поминали так робко и витиевато, что истина пахла враньем и пожиралась всегда голодной, всегда раскрытой пастью недостатков... Только профсоюзный билет оформлял Егор аккуратно, как сбрую на Ступе: без збруи не уедешь.

Качествами Ступы он гордился, но вчуже, как — учением сына. Ступа была более совершенное, нежели у других возчиков, орудие, дающее Егору работу и все, что от работы: получка, выпивка, харчи... жизнь. Ступа была ему послушная механическая сила, которая вывезет, но которая—ф а б р и ч н а я, казенная, значит, не стоющая глубоких чувств. И если бы после визита ветеринара заведующий дал Егору новую лошадь—он ввалился бы в дровни и погнал бы к кладовым не тише, не озабоченнее приятелей, которые советовали ему не тужить.

Но время такое точное, ответственное... дали Егору по случаю болезни Ступы трехдневный отпуск и хоть бы словом рассеяли его тревогу за лошадь: за спокойный труд, которым он был обеспечен до вчерашнего дня.

По совету возчиков, он опохмелился, оставив в залог шинкарке профсоюзный билет... Катерина даже не поинтересовалась, почему он пришел ранее свистков. У нее была своя радость, заслоняющая все в мире, кроме одного: Андрей сдал последний зачет...сдал в небытие главную ее заботу!Катерина победила, а победитель может взглянуть на жизнь с завоеванных высот, через головы побежденных. Хоть день, да поторжествовать! И прежде, в серые, тяжелые дни борьбы, она не спускалась до заискиваний у Егора,—после буйств он первый произносил повинное слово. А теперь, о!.. хоть год хмурься и крякай, разминаясь на разговор,—Катерина без внимания...

Но все же у ней щипало язык от желания поделиться радостью: «Андрей-то, слышь что-ли, чертовик бесчувственный, кон-

чил!». И только под вечер, охорашивая на сыне пиджак, она чуть облегчилась от тяжести секрета.

— Что ты его оглаживаешь, как девку?—рыкнул Егор, вдвойне голодный после выпивки.—Хоть ты его языком оближи и все такой же будет.

Катерина выпрямилась и чуть зарумянилась.

— Нет, не такой!.. Уж не такой! Спасибо советской власти, оправдала она мои труды...

— Хватит причитать,—крикнул Егор.—Делов тут! Завела пинжак, так готова многое лето запеть. Обедать-то нынче будем, али завтра?

— Можно и завтра!.. И через неделю—хорош—пообедаешь. Вчера за один вечер обедов десять сожрал, так что можешь не придираться!

И больше за вечер они не сказали друг другу ни слова.

За ночь мороз окреп настолько, что отработанный пар ткацкого корпуса, облизав стену (он словно обратно просился в тепло), инеем падал на прохожих. И Егор Кашанин, привычно явившийся к запряжке, слегка заиневел. Он пришел первый, и конюшня встретила его глухим ржанием, колготом галок, ночевавших по перекладам, спиртуозным своим запахом: запахом лошади, обмусленного овса, сбруйного дегтя, сенной трухи, гниющей по щелям. Для Егора это были значительные звуки и запахи,—«как похмелка!»—говорил он приятелям.

Он вернул выключатель и, ослепленный, открыл дверь стойла с черноподтечной надписью: «№ 14 СТУПА». Но вместо мощных форм лошади, неизменно освещенных сверху и вздрагивающих от утренней близости человека, лежала на полу густая груда теней.

— Вальнулась, точно мадам после бани,—проворчал Егор.—Вставай, ну. Лежа не выздоровеешь. Ну!—и шлепнул кобылу по крупу. Это короткое прикосновение передало Егору чувство тревоги, и не потому, что Ступа не шелохнулась, а потому, что ощущение шлепка не было похоже на вчерашнее, когда была Ступа здорова. Егор плотно приложил к крупу ладонь и отдернул ее, словно в ожоге: Ступа была холодна...

Деревянная боль-тоска защемила Егора. Он шумно вобрал воздух, задержал его насколько возможно и выдыхнул со словами:

— Вот так раз... Вот так беда!

Он побежал в контору, грузно топоча обшитыми валенками по колодцу фабричного двора. Звуки топота издевались над ним, передавали ему в мозг тревожное: «Со...кра...кра...тят...тят»... Меж черных простенков сияли окна, пересекаемые изнутри фигурками людей. От спешного людского движения казалось, что в фабрике тревога. И Егор, впервые увидевший живую фабрику, почувствовал в себе лишнюю тяжесть.

Со...кра...кра...тят...тят...

В комнате дворового отдела по-утреннему ярко горела над конторкой электрическая лампочка. Между ними горбился над листом наряда заведующий. Лицо его показалось Егору чужим и страшным. Сплющенное с боков тенями, оно вытягивалось в нос, горбатый и огромный; штыками торчали в стороны усы, словно защищая лицо от нападения.

— А ты зачем?—удивился он Егору:—я об'явил тебе вчера: три дня простою. Конюх и без тебя лошадь оправит. Ходите, а потом на сверхурочные подавать, да по союзам жаловаться.

— Чего подавать-то, Ступа околела,—робко сказал Егор.

— Как?!

— Не знаю как... Холодная. Идите поглядите.

Заведующий вышел из-за конторки и шумно заругался:

— Черти вы, очень просто! Дикари и больше ничего! Я вот что: половину обоза уволю. Сегодня же пойду к Гусеву и поставлю перед ним вопрос. Довольно на вас любоваться!.. Ты же знал, на чем ездишь. Знаешь, что кобыла жеребая, а валишь кладь ни с чем несообразно.

— Я не от себя клал, а по распоряжению,—оправдывался Егор.—Какая норма об'явлена, ту и клал. Мне против других вощиков отставать нельзя.

— Но ты мог напомнить мне, внести поправку. Рабочий ты, или кукла деревянная? Соображать ты должен, или нет? Ы-ы...

Заведующий изорвал листок наряда и обрывки швырнул на пол. Это подействовало на Егора сильнее слов.

— Иди к Столбикову, к живодеру, он на Вспольной живет, там спросишь. Надо кобылу убирать, пока не замерзла, а иначе ее и не вытащишь, придется стойло ломать. А, да все надо сломать к чорту, все стойла... чтобы не трепаться здесь с вашим братом! К лету весь обоз ликвидируем, перейдем на машины: и экономия, и без этого... без боли!

К живодеру итти было рано, и Егор, чтобы скоротать время, зашел домой. Младшие дети спали, Андрей читал лежа. Катерина, в неизменной серой косынке и в летнем, коротком брезентовике Егора, разжигала железку. Егор вспомнил, что разговоры с ней еще не налажены и потерял представление о времени. Утро сейчас, или вечер—не поймешь... Он нацедил из помятого в семейных боях самоварчика стакан воды, чуть теплой после утреннего чаепития, и выпил жадно. А потом сказал, что рвалось изнутри:

— Лошадь околела.

Катерина выронила из рук горящее береcто и сказала, словно приятное:

— Значит, отработал. Теперь будешь биржу светлить за тридцать рублей.

— А ты обожди трепать загодя, еще не известно...

— Все известно, прописано. Не думаешь ли на новую лошадь встать? И не суровься. На фабрику пришли грузовики, так что... да и вообще сказать, не дороги такие мастеровые,—поднять да бросить,—сотни вас на бирже, невпроворот.

Швырнула чадное бересто в печку и усилила голос.

— Поглядел бы, как корпусные стараются, коренные. В нитку тянутся у станков, потому, что эти—люди, они понимают, время ущитывают. А вам, чертям, оглобельникам, хоть все провались. Самые вы, дворовые, отставшие, пьяницы, серые, чтоб вас придавило...

— Ну, ты!.. Гляди, сама не задавись с сыном заодно!

— Благодарим. Спасибо. Вот уж сказал словечко... порадовал сердце...

— Мать!—крикнул Андрей и хлопнул книжкой по одеялу. —Ни слова больше. Иначе я уйду от вас. Я не могу... Я устал от вашей склоки, я ничему не рад!..

Младшие, как по команде, поднялись и, не разобрав дело, взревели. Катерина на них прикрикнула: — А вы что? Что взвыли, как собаки к пожару? У меня чтобы ни жукнуть!

Егор схватил шапку с подоконка... На воле обмял ладонью горячее лицо, некоторое время блуждал глазами в поисках направления и побрел по оплесканным водой уличкам, мимо серых хибар, в четки связанных заборчиками. От него уходило, прячась за трубы, за сквозистые сучья деревьев, холодное, доступное глазам солнце...

## IV.

Часа в два возчики, загрузив подачную льном, столпились возле конторы и обсуждали заметку «Последняя поездка», вывешенную в стенгазете, на воле. Егор Кашанин хотел сорвать заметку, но его удержали.

— За бумагу год сидеть,—плюнь ты на все, которое туг подведено. Умная голова писала грязным карандашем. «Хозяйственно и политически». Хм! Ловко! А мы где, возчики? А мы разве не боролись, не создавали? Мы разве на величество работали эти годы? Что у станков, что на лошади—труд один... На лошади еще и тяжелей, так что вопрос—на чьи средства грузовики закуплены?.. А тот рабкор, который нас под сокращенье подводит, есть предатель!

Егор молотил кулаком по груди.

— Да не доказано! Раз ее не натомировали—ни какой чорт не может сказать, что именно я заездил Ступу. Докажи и пиши... сволочь. А что я дома делаю, так в этом я самому Рыкову не дам отчет!

С появлением живодера страсти возчиков пошли на убыль.

Рыжий, широкий в плечах, в облезлой пыжиковой треухе и в сияющем полушубке, он походил на древнего латника. Но как

выразителен он был сам, так, наотлик, убог его выезд. Раскоряченные, до копыльев стертые дровни тащил худой мышастый мерин. Голова его деревянно торчала под дугой; задние опоенные ноги на ходу высоко вскидывались, словно обжигались об дорогу; упряжка скрипела...

Возчики забыли о заметке и стали язвить по адресу живодера.

— Ну и рысак, дери его хребтину!

— А выходка, ты гляди, как у барелины!

— По хозяину и конь. Ему, по занятию, лучше не требуется. Сегодня под шлею, а завтра в клею; тут, брат, тоже своя политика!

Увидев заведующего, возчики побрели к конюшне. Они каждый шаг живодера наблюдали критически, и опять посмеялись, когда он сказал увязшему в сугробе мерину: «Вылазь что-ли, не в валенцах!» Отседелив мерина и сунув ему под морду мешок с сеном, живодер достал кошелек и, отворотясь, выбрал в нем нужное, оглядел возчиков и спросил расстановисто: — Который обезлошадел?

— Я, — глухо отозвался Егор: — помочь что-ли, так мы сообча...

— Погоди — помочь. Это успеется. Жить надо поспешать, это верно, а похраниться нестоит торопиться... Добеги-ка на до ларька, возьми полкила колбасы, да разживись где-нибудь чашкой, чтобы нам разлить, разделиться безгрешно...

Заведующий заострился.

— Вы что, выпивку никак затеваете? Нельзя! здесь не пивная, а фабрика! Живодер отмахнулся.

— Погоди, старшой, шуметь, знаю. Больно строг, к ядреной махотке. Я и привез-то что только язык помазать, неприятность отвесть. Мне как хотят:—хотят пьют, не хотят—на снег льют, ну-ж я свой черед справлю...

Поллитровка, вынырнув из полушубка живодера, обожгла глаза возчиков холодной наготой. Заведующий застыл лицом и повернул к конторе... Минут через десять, возвратившись, он увидел возле конюшни совершенно иную картину. Возчики плотным кольцом охватили живодера, а тот важно их поучал:

— В природе ничего поганого нету, а все от сотворения естества. Лошадь, она животная трудовая, друг человеку. Машина с ней не сравняется. Машина, она и есть машина: железо, мертвое дело, бездушное существо...

— Правильные ваши слова: возчик без лошади — не человек!

— Хватит разговоров, — оборвал заведующий. — Навалывайте. Надо за светло пряжу передернуть на маленькую фабрику.

Возчики решительно двинулись в конюшню, — и скоро туша кобылы лежала в дровнях. Мышастый мерин туго косился назад,

стриг, прял ушами, чуя недоброе... Один из возчиков так решительно его подседелил, что он мотнулся и чуть не упал.

— Подковы отдирать будете? — спросил живодер. — А то отдерите, мне они по делу не надобны.

Заведующий молча отмахнулся и приказал возчикам расходиться. Только Егор провожал Ступу со двора, не зная в точности, зачем он идет,—затем ли, чтобы отдать Ступе последний долг, или затем, чтобы отнести в сторожевую будку чашку, из которой выпивали... В воротах он сунул чашку в руку удивленного милиционера, догнал живодера и стал излагать ему свои мысли.

— А вы не знаете такого случая, что, например, лошадь пала, а рабочий, например... как теперича мое положение...

Живодер шагал редко, взмахивая концом вожжей и слушал Егора, глядя под ноги.

— Тпру... Был такой случай, скажу... Загляни ко мне на дом, завтра или после завтра, когда я тушу на дело уставлю. А теперь ступай в контору, там будут актом списывать, так ты вот что: не сдавайся. Требуй натомирования, не уступай. Этот заведующий ваш — стервечишка, карьера, без жалости, ну и ты... будь погрубей. Сократят, так шабаш, хода заперты.

Сказав это, живодер обернулся к мерину и заорал на всю улицу:

— Ну-у... Не у чайной встал, шельма вороватый! Ну, не в гору!.. Топчись, как старик в кадрелях!

И навалясь на дровни плечом, толкнул их вперед вместе с мерином.

## V.

В акте отметили... вследствие надсады, по причине халатного отношения возчика Кашанина. Егор бунтовал, требовал экспертизу, но смирился, когда узнал, что вывод о надсаде сделан на показаниях возчиков.

— В горе Ступа вставала?

— Да...

— Перекладку вы не сделали?

— Так ведь я на Ступе работал четыре года, и никогда не бывало, чтобы...

— А тут произошло, и нужно было сообразить перекладку... Если вы хотите судиться — пожалуйста. Но имейте ввиду, что суд подойдет жестко, как к вредительству, и взыщет с вас стоимость Ступы...

Полный исток негодованию Егор дал дома. Он клял заведующего, возчиков, раскрывших тайну, и даже ветеринара.

— Может, она с лекарства издохла. Чорт его знает, чего он в нее пустил! Катерина советовала ему сходить к директору, но он отказался.

— Что заведующий, что директор — одна даминистрация.

— Тогда в профсоюз сходи, что-нибудь надо принимать. Разыщи комиссию, которая подвал обследовала, люди хорошие, что-нибудь посоветуют. А в ругани какой толк? Нынче ругань не в силе.

Егор поддался спокойной логике жены, но он представил, что в профсоюзе с первого слова потребуют у него билет, а билет в закладе...

— А, никуда я не пойду. Издохну, ну-ж кланяться не буду. Чего ходить? Везде одна партия, одна бюрократизьма насажена. Не пробьешься! Затем он вспомнил о заметке «Последняя поездка» и раздраженно посмотрел на Андрея, что-то читавшего на подоконке.

— Ты не болтал про наше домашнее? Слышь, тебя спрашиваю, читарь?

Андрей неспеша перекинул взгляд с подоконка на отца. В равнодушной позе сына, в холодных его глазах было для Егора новое, что усилило его раздражение. «Как конторщик... чорт их знает, точно все сговорились против меня!»

— А что? — спросил Андрей.

— На фабрике есть про меня в газете... на стенке...

— При чем тут я? О твоих спектаклях весь город знает... Между прочим, я читал заметку.

— Ты что-же, нарочно за этим ходил?

— Нет, ненарочно. Я ходил на фабрику по делу: грузовик смотрел, завтра будет проба.

— Какая проба?

— Обыкновенная проба машины. Я поступил на фабрику шоффером. Ты что, не знаешь? Разве ты ему не сказывала? — обратился Андрей к матери с легким упреком.

— Он не спрашивает, — ответила Катерина. — Ему это с самого начала без интересу.

Андрей показал отцу свидетельство курсов, но тот не взял его в руки... Не верится. Что-то скоро учат. Не подвох-ли? Не привешивает-ли сын отцу вторую бороду, на посмешище Поперечной?.. Сам чорт тут не поймет. Дирекция на Егора и сын туда же, согласен с рабкором, находит правильным позор отца. Вот бы когда его впору! Вчера этот заморыш не смел прикоснуться к отцовскому рукаву, а нынче чище заведующего, свысока доказывает слова: темп... амортизация... рентабельно... откуда лезет! Вот он стоит перед отцом и читает ему лекцию о чужом деле:

— По таблице Форда три грузовика, отработавши год, не только покрывают стоимость трех лошадей першероновской породы, но дают эффект экономии в размере лишней лошади...

Катерина, стоя у «горки», оклеенной изнутри карамельными бумажками, каждую фразу Андрея скрепляла утвердительным

кивком. А Егор... он глядел на сына, как на видение. Он ошалел, познавая рост, расцвет забитых, затертых качеств сына. Когда-то, в пору нищенства поднял он во дворе книгу. Переплет ее разбух от дождей и грязи, но раскрыл Егор книгу и поразился чистотой ее страниц, ясностью картинок. Так и Андрей сегодня, — раскрывшаяся книга в худом, невзрачном переплете нищеты.

... Возьмем другую сторону, быт, — в упор, с искрой завинчивал Андрей отцу: — Девяносто процентов возчиков — пассивные, пьяницы, на пьянство крадут овес... доказано! Яша Тыква и Пашка Монах для кражи перебрались возчиками на грузовики, — ящики по дороге вскрывают; но это до случая: шофферы их разоблачат!

—А тебе какая забота? — осерчал Егор, задетый за живое своих наклонностей. — Ты помалкивай чего тебя не касается, за это башку сшибут.

— Не сшибут,—вступилась Катерина.—Прошло то время, когда Монах из протоколов цигарки вертел. Теперь с одного протокола глаза закатишь. Кого они обворовывают?—рабочих.

Жизнь Катерины целиком перевалила на сторону Андрея. Согретая теплом сыновних удач, она лучилась радостью и будто молодела. И наоборот, выбитый из фабричных дровней, Егор в последние дни сгорбился и спал с лица. Но стороны так были заняты своим, что не видели друг в друге перемены.

... Под вечер зашел к Кашаниным Шеваркин, товарищ Андрея по курсам, высокий, изломистый парень. На курсах его любили за врожденную смешливость. И действительно, природа так сформовала Шеваркина, что даже серьезное у него выходило смешным. Он — не глупый — зная высокую цену веселости, не откладывал подемонстрировать ее при случае. В дверях подвала он стукнулся головой об косяк, и, как потер ушибленное место,— младшие кашаны засмеялись.

— Ниже земли живете... здравствуйте.

— Ушибся? — спросил Андрей.

— Две «свечи» дали по искорке, но воспламенения не получилось.

Младшие не понимали автоязык Шеваркина, но его крупные, чуть вывороченные губы шлепали так смачно, что еще хотелось смеяться. Катерина соорудила чаепитие, выставила на стол коробку с помадками. Шеваркин смело, как своим добром, оделил ребят:—Тебе свечка, тебе свечка...—и сказал Катерине: — Психология детства! Знаете, когда взрослые едят, а маленькие глядят—не может быть хорошего настроения.

Так, в полчаса расположил он к себе семью Кашаниных. Он и для Егора нашел бы теплое слово, но Егор, с'едаемый одиночеством, убрел не сказавши куда.

— Кто у вас первым окончил? — спросила Катерина Шеваркина,—небось, вы?

— Куда!.. На курсах были такие ребята, что я им в протирку не гожусь. Например, Баскаков... Андрей знает его. Это действительный прирожденный талант по машинной части. Еще когда был вот таким винтом, — Шеваркин указал на одного из младших, влюбленно смотревших ему в рот, — смастрячил он из жести паровоз и принес его в школу. Раздобыл углей в печке, расшуравал... учитель входит в класс, а ему навстречу из-под парты паровоз катит... дым, свисток... сторонись — задавит!

Младшие смеялись и ерзали на табуретках, завидуя машинисту.

...Через этого Баскакова я и шоффером стал. В позапрошлый год сконструировал он моторчик к велосипеду. Что-то вроде бомбы с ручкой, или верней, наподобие луковицы с перьями: все рычаги вместе. Проездил сезон и решил моторчик загнать на костюм. Предлагает мне по-свойски не за дорого. Я кочегарил на «Заре Коммунизма», деньги водились. И вот на стадионе «Профинтерна» решил я моторчик попробовать. Поскольку я на велосипеде умею, оставалось пустяк, усвоить моторчик. Баскач поясняет мне рычаги: это—воздух, это—газ, это—тормоз... А в тот день, к несчастью, был на стадионе спортивный праздник, народу — внабой. И я решил прокатиться по треку перед началом состязания. Завел, толкнулся, та-та-та... пошла. Распорядитель кричит: «Очистить дорожку!». Махальные с углов флагами показывают «Убирайся»! Около того места, где Баскаков, хочу я выключить моторчик, но вот беда: какой рычаг ни нажму — все не тот, все только скорость подбавляется. Физкультурники за мной несутся, орут; распорядитель трясется от злобы, а я мчусь... Только крикну Баскакову: «Ванька, как остановить-то?» Только Ванька рот раскроет, а я уж вон где... Еще делаю круг, кричу: «Которой штукой тормозить, будь она проклята!» — а меня опять пронесло... Публика поняла, ржет. Кто-то басом советует: «Снимите его с ходу!», а другие отвергают: «Шею свернет по инерции». Милиционер свистит дуром, без технического понятия. Чудак! Я без свистка знаю, и рад бы слезть, да не могу... Так и катался по треку, пока горючее не вышло.

Младшие хохотали до слез, больше на свой хохот, чем на рассказ Шеваркина. Смеялась Катерина, изменившая привычке дремать за вечерним чаем. Смеялся Андрей, откинув голову к стене с родовыми фотографиями.

— А после что-ж, купили вы эту машину? — спросила Катерина.

— Куда ее к дьяволу. Хватит того, что завезла она меня на принудиловку. Месяц оттерпел, за срыв праздника. Но вот, представьте: затянуло! — После той поездочки появилось влечение к мотору. На курсы ушел, и вот завтра поедем. Поедем, товарищ Кашанин. Только условие, знаешь: поросят не давить, ха-ха!...

Шеваркин увел Андрея в кино. Едва закрылась за ними дверь — младшие подняли возню. В хохоте, в сумятице криков слышалось: «Ванька, которую штуку нажимать!» Катерина их не останавливала...

Утро принесло в семью Кашаниных знаменательный перелом. Утренний чай, зарядка рабочего дня, был посвящен Андрею. Молодой Кашанин вступал в деловую жизнь. Суетность Катерины, шум самоварчика, звякание посуды, гудение растопленной железки, — все служило гимном акту, не менее высокому и торжественному, чем рождение человека.

Первый стакан, первый кусок, первое слово — Андрею. А Егор — в стороне, в тени, вне теплых волн внимательности Катерины. В нем обрезали привычку многих лет, привычку от тысячей утренних чаепитий, когда ему, главе семьи, кормильцу, позволялся и прощался эгоизм требований и придирок. Теперь это отнимают. Без работы Егор не может хранить единственную свою власть, — семейную большину. И он рванулся к последней надежде, к обещанию живодера. Отец и сын Кашичины вышли в один раствор дверей. За воротами они неловко остановились, чувствуя, что надо сказать друг другу хотя бы слово...

— Куда? — спросил Андрей.

Глаза Егора тяжело повернулись в котловинах подлобья.

— Это мое дело... Сначала снеси, а потом и кудахтай... я постарше тебя.

— Старшинство не имеет значения.

Сердце Егора захлебнулось ядом, глаза утеряли Андрея, стоящего в двух шагах... Егор искал в себе ответ разительный, уничтожающий, но ответ перекипел в злобе и так и не родился... Пути Кашининых разошлись. Сын размашисто пошагал к улице Демонстраций, к фабрикам, отец — вдоль серых, ниспадающих в полусвете утра хибар Попоречной, в конец, на Всполье...

На углу Андрей столкнулся с Ольгой Кониковой, идущей от водоразбора.

— Простите, задумался, — и придержал расплескавшееся ведро. — Разрешите донесть?

Ольга посмотрела на него внимательно и весело отказала.

— Спасибо, Андрюша. Вам на работу. Идите, иначе опоздаете.

Андрей хотел услышать, откуда она знает о работе, но Ольга перевела коромысло на другое плечо и пошла без оглядки. Он что-то пробормотал и свернул за угол. До самой фабрики светили ему фары ольгиных глаз, а в ушах переливалось необыкновенное, теплотой доходящее до сердца: «вам на работу».

... За ночь подкинуло снега, крупного, мягкого, с подсинькой. Он напомнил Егору белье, развешанное на просушку в садике фабричного двора, — и опять взболталась, полезла к сердцу злоба на администрацию. На Вспольной чистота снега сильней

выделяла разрозненную убогость стройки, но от дворины Столбикова веяло особой дикостью. Перекосившиеся ворота открывали свободный доступ во двор в старых, свирепых репьях, в сухих, оглоданных снизу черемухах и бузинах. Несоразмерный, не по дому, двор этот перекидывался через хилый частокол в загородье, пугающее воровскими и волчьими налетами...

При входе встретил Егор худую пришлую собаку. Она держала в зубах огромный лошадиный мосол и прикралась, чтобы пропустить человека. Но страх, наступающий на нее сзади, был сильнее встречного, и она из всех сил рванула мимо Егора. Сбоку, из сарайки вышел Столбиков. Он был не в треухе, а в растрескавшемся кожаном картузе и в таком же фартуке. С пальцев его стекали конские соки...

— Заходи, заходи, у меня слободно! — пригласил он Егора и стал вытирать руки снегом. Двор, словно ждал его голоса — ожил. С хорканием выскочили поросята, обсыпало снег цветным ворохом кур, с зябкими остановками бегущих к крыльцу, вывернулся откуда-то черный, здоровенный кобель с обрывком цепи на шее — и прямо на Егора...

— Цима!.. Пшел прочь! — прикрикнул на него Столбиков. Кобель боком подался в сторону, гавкнул, зевая, и начал драть снег задними лапами: разряжал злобу. На кривом, лишайстом крыльце показалась внушительная, высокобровая женщина с ведром в руке и с курьим корытцем подмышкой. Поистально пригляделась к Егору и занялась с живностью. Столбиков крикнул ей:

— Матрешь, гляди, заедят тебя боровья!

— Заедят, так тебе хуже!

— Полно, не хуже: молоденькую приведу. Я уж одну подглядел, вон у их на фабрике. Такая луковка — дух вон!

— Что с тобой, с рыжим бесом, поделаешь, придется на развод расписаться!

Эти шутливые переклики взбодрили Егора. «Живодер, а живет подходяще. Поросята, птица, баба ядреная... коренной человек»,—думал он, направляясь по приглашению Столбикова в дом.

— Ну, кобылу вашу разделал, — сказал Столбиков Егору за чаем. — Теперь начну уставлять ее в последней цене. Которое на клей, которое на крюки *), которое на щетки. Товары все надобные, одним плохо: дело падает, совсем прекращается. Дом — видишь — на восьми углах стоит и учиниться не могу.

— Время тяжелое, оно точно,—поддакнул Егор и потянулся со стаканом к хозяйке. Она подняла брови и заговорила четкой скороговоркой:

— Надо бы хуже, да быть нельзя. Ну-ка, до чего дожили: ни курам, ни свиньям, ни себе — пищи. Вот добьют лошадей до

*) Заготовки для сапог.

последка, а там сбирать, да и сбирать нечего. Кто подаст? Кто нынче богатые? О-ох... Что в фабрике-то говорят? От властей чего слышно? Будет-ли изменение в жизни, или уж всем помирать собираться?

Егор растерялся от трескотни Столбиковой, от ее выпуклых, немигающих глаз. «Положим, вы проживете с курятиной, да с ветчиной»,—подумал он и промолчал. Трезвый он был тугословен, и в чужой обстановке чаще впадал в тон просительный.

— Не могу знать. Может, в корпусах и идут разоговоры, а я от этого отдален, я по двору... Меня самово затрагивает, я тоже, вот, к ним с бедой... извиняюсь, имя-отчество не знаю...

— Максим Иваныч, — подсказал Столбиков. — Как и что на фабрике? Актом списали?

— Списали.

— И какую притчину проставили?

— Притчина моя: надсадил.

— Плохо... Что ты надсадил — это правильно, но вот, что вывернуться не сумел—это и плохо. Прошедчий год, по лету в союзе обществ так-то лошадь переневолили, — ничего, возчик вывернулся, конечно, не без меня. Уж ты как хошь, а меня в таком разе не минешь. Где есть последняя пристанища лошади, там вам и помощь. Ветеринарный, он около живой лошади покружится, ну-ж около мертвой кружиться их любителей нет. А мы и тут не брезгуем.

— Пожалуйста, Максим Иваныч, не оставьте, — просил Егор. — Положенье такое... чем могите.

Столбиков снисходительно пожал плечами.

— Придется... Удостоверенье дам. Такое указательство проставлю, что оно должно повлиять. Матрешь, где у нас что: бумага, чернило?..

Он долго и важно царапал на четвертушке с размазистым штемпелем «Клейное производство М. И. Столбиковъ. Вспольная, собственный дом», поднялся багровый, потный и сказал Егору:

— Вот слушай... Дано в том, что при вскрытие павшей кобылы на фабрике зарод действительно был под сердцем, что действительно не давало ей дыханья, что и удостоверяю Максим Иванов Столбиков.

Егор принял записку, как амнистию смерти, и тщательно, словно в себя, уложил ее в пазухе.

— Вот теперь зарука! А то баба вчера посылает — иди. А чего итти с пустом? С пустом и к попу не ходят... Скажут — нет—и умылся. А с документом, в крайнем случае, можно потребовать. Спасибо, Максим Иваныч. Хозяюшка... огромнещее спасибо!

Пока Егор проходил по двору, Столбиков, в предостережение собаке, стоял на крыльце. Дома Матрена спросила его:

— Выйдет-ли что?

— Навряд. Срок упущен... Человек он того... невареный, без догадки. Колода гнилая. Намекал я ему во дворе—успеется — и половинку от себя. А их человек десять, налетели на вино, как боровья на корыто, готовы с посудой сглотать. В чайную даже не сводили, так скажи на милость, чего мне об их стараться?

— За фабришных стараться — себя обижать, — оторвала Матрена, ожесточенно катая в полоскательнице стакан, из которого пил Егор: — они об нас, гляди-ка, стараются!.. девяносто целковых, ободворенную выпячивай, да еще бумагу им выдавай. Я бы не только бумагу... в шею со двора, да еще собаку-бы науськала.

Столбиков тяжелым смехом растрясал веселое воображение.

— Нападала, ха-ха!.. Н-да... А я тебе во дворе кричал, думаешь, так, без розмыслу? Не-е!.. Им не видать такой жисти, в какой мы живали. Так пусть хоть на остатки глядят, мать их под корень. Злее будут!..

## VI.

Подобно тому, как в цикле малых гроз зреет ядро большой бури, так и в малых житейских драмах копится сила для большого, финального акта. Был неминуем он и в семье Кашаниных.

Утонченная в житейской борьбе Катерина умом и чувствами предугадывала близость большого скандала. Перестановка ролей в семье, вся логика последних событий убеждала ум Катерины: будет, готовься... А чувства дополняли логику. (Так нервные люди за минуту угадывают встречу с знакомым лицом).

Сегодняшнее утро не предвещало скандал, но Катерина забеспокоилась. После ухода мужчин ее одолела апатия. Она не пошла за бельем к немцам, а после, когда Коникова снарядила ее с молоком для механика, она сослалась на сынишку:

— Митюшка снесет. Мне сегодня что-то нехорошо. Страшная тяга, так бы и взревела. Правый глаз чешется — к слезам... Сергей Платоныч сегодня вечером дома будет?

Оказалось, что Коников сегодня работает до шести, а после пойдет на лекцию инженера, вернувшегося из Америки.

— Жаль, — сокрушалась Катерина. — Мне хотелось, чтобы он сегодня вечер дома был, Егора бы успокоил. Анна Васильевна, милая, — вдруг открылась Катерина вся, — возьми после обеда Борюшку на часок, меньшова.

Коникова удивилась.

— Да ты чего боишься? Получка была третьего дня. Вот ведь вы, постояльцы веселые, с вами численника не надо.

— Ах, господи! — продолжала Катерина свое: — свинья грязи сыщет. Захочет пить, так рази не найдет. Снял пальто с плеч — вот и деньги...

Она угадала. Часа в три орава мальчишек провожала Егора вдоль Поперечной. Он двигался без пальто и без шапки. Его ругательский лексикон обогатился новыми образами.

...Ветеринары!.. Даминистрация, копейка штука!.. А-а, по-вашему это не документ, а максимова грамота. Ладна!.. Значч, вам печать требуется, хоро-шо, припечатаю!..

Запрокинув голову, подставив пороше неистовое лицо, кричал задыхаясь:—Тебе бога хва-алим, тебе го-оспода исс-пове-е... ду...ушу вышибу!!.

Распихав детей, припрятав все ломкое, хрупкое, Катерина вышла во двор. Притаив дыхание, ловила она крики мужа. То, что в центре его злобы были на этот раз иные люди — ее взбодрило, и она решительно рванула калитку...

— Домой!.. Домой, пьяница, шаматон, бессовестная рожа. Не сметь позорничать, у тебя сын большой!

И толкнула Егора. Он обернулся и молча ударил ее по лицу. От неожиданности и боли она кружилась по мостовой, хватала снег и прикладывала его к лицу так часто, словно к раскаленной плите...

Через несколько минут она в странной, отрешенной оцепенелости стояла во дворе и слушала взрывы буйства, вылетающие из подвала в разбитое окно.

— Это... этому нет названия! — нервничала возле Катерины Ольга Коникова. После каждого удара в подвале она хваталась за лицо и расширяла глаза. — Тетя Катя, это ужасно. Он все перебьет. Что вы ждете, идите за милицией!

— Не надо, — сказала Катерина, придерживая рукой правую часть лица. — Ты, Оленька, успокойся, твое дело молодое, и нечего тебе расстраиваться из-за пьяниц. Пусть делает, что хочет, он теперь не наш... Андрюшка сегодня на машине... а этот... погибший. Вот он, чертовик проклятый, натешится и пусть идет, куда знает. Семьи ему не видать, нет, не видать!.. Иди вынеси мне медное, пятак что-ли, к глазу приложить...

Ольга заглянула ей в лицо и отшатнулась: — Милая тетя Катя, у тебя глаза нет!

— Тут, куда он делся. Зашел маленько, затек, так это исправится. Вот вступим в пай, переедем на квартиру... А ты чего ради в платье выскочила, не лето? Ступай, оденься... Пойдем, я попрошу у Анны Васильевны завязаться... Погоди, я за тебя подержусь...

## VII.

Выдавая шоферам спецодежду, заведующий обозом спросил Андрея:

— Как ваше отчество?

— Андрей Егорович. Мой отец до вчерашнего дня работал здесь, в обозе, а потом эта история...

— Вот именно, история, — отчеканил заведующий. И холодно, в упор: — А вы не заездите машину?

Андрей смутился.

— Я машину знаю... Но почему вы другим шоферам не задаете?

— Да, просто, надобности нет... Просто сказать, я опасаюсь за вас. Как говорится, от яблоньки яблочко...

Андрей задрожал и вырвал кулаки из карманов.

— Я протестую против подобных выражений!.. Нельзя оскорблять, не имея данных. Какое мне дело до отца. Он — алкоголик, а я... А, да что говорить, коли вы подходите по-старинке!

Заведующий смягчился.

— Говорить надо, товарищ... Машина стоит три тысячи... Распишитесь: куртка, перчатки, валенки с калошами получил— Кашанин.

Приподнятое настроение Андрея исчезло. Проклятая лошадиная эпоха! с рождения и до вчерашнего дня мучила она Андрея голодовками, страхами, побоями, прозвищами, неверием в себя. Казалось, вчера она отстала — нет! и здесь, в свете новой жизни, тянется она за Андреем чужой, слякотной тенью...

Но в 19 лет довлеют в человеке бодрые чувства. Мысль о наследии в брызги разбилась об новенький, пятитонный «Геркулес», доверенный Андрею фабрикой. Серо-стальная, лоснящаяся машина пахла краской, резиной, кожей сидения. Слагаемое этих запахов отложилось в сознании молодого шоффера, как ответственность за машину.

Андрей готовился к пробе быстро, но что он ни делал, — наливал горючее, смазку, воду, проверял створки площадки, мимоходом стукал кулаком по шине, подражая заведующему курсами,—все, на внимательный взгляд, было неуверенно, робко. Обозный, наблюдая работу шоферов, чаще задерживался возле Андрея. Но потому, что до сих пор в об'екте его наблюдений были лошади и потому, что робели все шоферы, — ничего особенного он в работе Андрея не заметил.

Шоферы имели право проверить машины на порожнем ходу, вне фабрики. О, это было удовольствие! На спусках тело Андрея костенело вместе с тормазами и непроизвольно откидывалось назад; на под'емах он, подмяв грудью правежный круг, готов был помочь мотору своей силой, хотел тянуть вместе с ним восходящую гамму: о-ооууу... Но самое вдохновенное было дать на прямом пути переходную скорость и подминать улицу прыжками от качких рессорных ритмов. Густые волны моторной строчки вливались в кровь Андрея и ей, взболтанной, подогретой, было тесно в жилах. Тесной казалась меховая куртка, жаркими — перчатки, а круглая шапочка-финка словно тянула голову кверху... Встречный воздух закупоривал горло и оно, прополосканное, хотело кричать что-то безрассудное, мальчишеское.

Но кричать нельзя: кричат извозчики; крик в шоферской этике— позор. Тогда Андрей передавал свои желания сирене, заставлял ее рявкать зверски и не всегда по нужде: Ррр!.. Рррр!! Андрей едет. Он владеет этой послушной, замечательной машиной. Рррррр!!!

После пробы грузовики повезли на станцию полотно. В помощь Андрею был придан таскальщик уборной конторы Катушкин, тоже жилец с Поперечной, тощавый, слабосильный, но очень разговорчивый. На Поперечной звали его «Детина». Он путался в непомерном коричневом плаще и воевал с шапкой, которая была ему явно велика. Андрей, помогая Катушкину грузить нелегкие, окованные железом кипы, спросил его:

— Чего ты шапку выбрал с запасом, расти что-ли думаешь?

— А может! — загадочно, тенорком отозвался Катушкин. Но скоро пояснил:—размер не подшелся. Сорок пятый размер мал, а сорок шестой велик, между ними бы, сорок бы пять с половиной — вот на-ять. К тому еще, мерял я ее при волосах, а в последствие время пришлось остричься, волосы шибко лезли. И теперь гляди что получается.

Катушкин крутнул шапку, и она описала на голове полный круг.

— С кем бы сменяться ищу. Давай-ка, а?.. Фасон одинаковый. Да нет, не выйдет, у тебя башка кашанинская, да и шапка новая, хрен-ли тут толковать.

На кипы он уселся, как куколка, закурил и с достоинством посматривал на прохожих. За городом, в одиночестве он соскучился и, заглядывая в угол правежной кабины, стал рассказывать Андрею, отчего лезут волосы.

— Второй год ломаю голову над изобретеньем. Составляю аппарат для переноски кип. Ничего, дается... Берут кипу особые крючья, «руки» прозываются; приподнимается кипа вверх автоматически, путем закрутки винтов, и опускается то же самое. Винты развинтил — кипа вперед, а самый аппарат назад. Одна только неувязка: самый аппарат приходится толкать руками, что противоречит самой идее. Ежели бы электричеством, да хрен-ли... Доказывал Гусеву, директору, говорит — обожди. Вас, говорит, гыщи изобретателей, а станция одна... вольт про всех нехватает. Заходи как-нибудь—покажу, я оформляю дома.

— Украду твое изобретение, да и выдам за свое! — крикнул Андрей в угол кабины.

— Не поверят! Вот ежели по грузовику чего изобретешь — поверят, а в таскальном деле ты не можешь. Я размышляю так: кто где работает, тот тут и должен изобретать. Тут человеку во как натерло, до хребта. Тут ревешь, да изобретаешь. А ежели за чужую отрасль хвататься, это будет не идея, а... вантюризма.

Андрей, слушая Катушкина, взглядывал на памятку возле приборов: «Думай о машине!» А Катушкин расценил его нераз-

говорчивость по своему: молод, не дорос. Катушкин убрался и скоро запел:

Уродился я
Девица форсиста.
Никто за муж не берет
Именно за это...

Слово за словом, колено за коленом — захватила Андрея песня и понесла, понесла его в даль от снежной дороги... Эх, придет лето, попросит он у заведующего машину часа на два, конечно, с вычетом стоимости горючего из зарплаты, из расчета 400 грамм на силу в час горения... пустяк! Важно напитать мать и братишек радостью езды, чистым воздухом, простором, солнцем, всем, чего нет в подвале. Мать и братишки, конечно, на площадке, на сидении, рядом — она, и так близко, что сквозь одежду чувствуется ее тело. С гордости она шурится, встряхивает головой, откидывая пышные волосы, и придерживает на груди вздувающееся платье. «Не тряско?»—кричит Андрей матери и слышит веселое: «Нет, хорошо!» Они загибают на Поперечную, чтобы обдать пылью, газолином и торжеством заколоченный, слепой подвал. Знакомые мальчишки бегут за машиной и просят посадить их. Они уже не озоруют, и следовало бы прокатить их до Вспольной... Но машина переехала крик, мальчишки отстали. После, в праздники!..

А вот и загородье. Полотнище шоссе расстелилось в прорыве между целебно пахнущих сосен. Андрей получает от нее улыбку, согласный кивок и увязывает лихое намерение с матерью: «Прибавлю?» Мать никогда не против движения, кричит: «Прибавь! Да только правь тверже! Смотри!» Андрей переводит скорость. Ррр! — захлебнулся мотор горючим, но что такое?.. Сбоку, из угла кабины глядит испуганное лицо со щеточкой усов и ямистым подбородком, и все исчезло... Вместо сосен бежит мимо машины еловая огорка портомойни, вместо шоссе— полозняк, вместо любезного голоса матери—тенорок Катушкина:

— Поровнее, слышь? Не на полу сижу. С такого чорта слетишь, так после надумаешься, какую кость с какой составить!

На береговой горе Катушкин снова высунулся и заметил:— Самая эта гора, на которой батька твой...

Андрей стиснул зубы и толкнул скорость до отказа. Машина задрожала. Восемьдесят лошадиных сил вцепились в гору и гневно швырнули ее назад... Катушкин исчез. Но скоро он выставился уже по плечи и заругался:

— Ты, молодой шоффер!.. На хрен эти штучки, понял?.. Либо веди, как следует, либо упреждай. На волоске увисел!..

Впрочем, поездка их сблизила. Катушкин даже решил перевестись из уборной конторы на машину Андрея. Преимущества налицо: воздух, техника... и к тому же вот, за махоркой можно заехать на Поперечную.

— А ты зачем домой? — лукаво спросил Катушкин, уже сидя рядом с Андреем.

— Так... По одному делу...

— Э, парень, знаю: фасон показать хочешь. Ничего-ничего, — свойски толкнул Андрея локтем. — Ради первого дня полагается... Эх, да-а... А я, помню, в первы-ет день на четырех разносил закуску.

— Это как? — не понял Андрей.

— А просто сказать — блевал...

На повороте с улицы Демонстраций Андрей глянул к знакомому дому и заметил людское скопище... Он прибавил скорость, но в этот раз между мотором и сердцем не было контакта... Катушкин никчемно молвил: — Не иначе батя твой гуляет... что-нибудь по случаю увольнения.

Андрей почти на тротуар вогнал машину и, выключив муфту, бросился из кабины. Мотор работал средним газом. Во дворе, обеспокоенный чужим людом, рвался «Трясило».

— Приехали брать! — услышал Андрей, пробиваясь сквозь толчею. Теперь он не сомневался: отец...

Вид разбитого окна, ближнего к углу, — окна этажерки, окна читальни, близкого окна! — поранил Андрею сердце. Среди чужих лиц нашел он лицо ее, стиснутое ковровым платком. Она оживилась и сделала шаг вперед, но сдержалась, нахмурилась и тут же запахнулась в платок. Андрей злобно нырнул в корридорчик, навстречу голосов: «Гражданин, за сопротивление хуже ответите!.. Прочь! Сам Рыков не имеет права!..» В сумерках кухни женщина с белой косой повязкой на лице прильнула к Андрею.

— Андрюша!..

— Мать... Что такое? Почему повязка?

— Не спрашивай... Ты аль отработал? Который час?

— Пятый... Я заехал показать тебе машину, она у дома...

— После... Не до того... Все как есть перебил и чуть пожар не устроил. Над чем я всю жизнь трудилась, самела, то он враз, в час...

Она заскользила пальцами по коже сыновней куртки и зашептала решительно:—Увози его... В милицию, к сумасшедшим, куда знаешь. У меня для него ни вот... ни кровинки не осталось в сердце!

... Минут через пять расхляблое, пахнущее перегаром тело Егора впихнули на площадку машины. Вслед за ним неловко ввалился милиционер с сырым деревенским лицом и новеньким, сбившимся на спину кобуром. Андрей запер створки и развернул машину к улице Демонстраций...

Егор не подавал ни звука. Но на завороте Андрей почувствовал на площадке стремительную возню, удар каблука в стенку кабины и крик: «Останови!» Андрей глянул из кабины и

увидел, — справа, за створкой мелкнула большая ладонь, знакомая с детства, с первых дней познания жизни... Андрей метнулся к приборам, рванул, нажал ногой... машина крикнула человечески: — Ааа!.. и все смолкло. Андрей вспомнил крик поросенка и формулу: «Давление колеса прямо пропорционально весу частей...» Он содрогнулся, закрыл глаза и уронил с рук перчатки...

Глянуть назад стоило ему больших усилий, но впечатление оказалось не так страшно. Отец, как сломанная скамейка, сидел на снегу, подпершись руками. Правая его ступня торчала носком кверху, а левая свернулась во внутрь, отчего нога выглядела вдвое короче... Отец не кричал, и было похоже, что показывал он всем желающим: «Вот какие дела бывают на свете». Возле него кружился милиционер и утирался рукавом.

— Товарищ! — крикнул милиционер Андрею. — Иди!.. Надо что-нибудь делать!..

Дело ясное: надо везти человека в больницу... Андрею надо вести машину на фабрику. Людям, что спешили с тротуаров к месту происшествия, надо было готовиться к шестичасовой смене, итти домой, на собрание, в кино, на свидание... в точную, отмеренную клеточку жизни. Всякий должен знать, что ему делать, и если он растерялся — надо ему напомнить.

— Беги в контору «Гостекстроя!» — крикнул Андрей милиционеру: — вызови скорую помощь!

Затем он одел перчатки, откашлянулся, внимательно посмотрел вперед и дал газ...

*Июнь 1930 г.*

---

*НИКОЛАЙ ЧАСОВ.*

## БАЛЛАДА О ПАРОВОЗЕ.

Вчера я видел снова,
Как шум бросая в дол,
Наш паровоз больного
Товарища привел.

Вдали от черной гари,
От шума вдалеке,
Стоял его товарищ
В последнем тупике.

Станицы птиц летели
Над ним на синий юг...
Вчера он шел несмело
На поворотный круг.

И лишь сошел он с круга
И встал с другими в ряд,
Как в нем былого друга
Узнали слесаря.

Ой, песни моей пламя,
Победы наши славь!..
Бушует перед нами
Восставший Ярославль.

В лесах певучих кроясь,
Бросая шум колес,
Приводит бронепоезд
Знакомый паровоз.

Сюда семьею дружной
На зов родной земли,
Станки сменив на ружья,
Рабочие пришли.

Под грозною осадой
Дрожала ночи мгла —
И рушили снаряды
Святые купола.

Мы за врагами следом,
Блестя штыками, шли...
Заря большой победы
Маячила вдали.

Прошли, прошли потоки
Свинцового дождя,
Шел поезд в край далекий,
Торжественно гудя.

И паровоз недаром,
Сбирая сил резерв,
Дышал давленьем пара
В двенадцать атмосфер.

Над черной головою
Тревожил гулом тьму.
И чудилось родное
Иваново ему.

И вот он, развевая
Знамен багряный шелк,
Гудя и вырастая,
В Иваново пришел.

Он, мужеством
Прославленный
В минувшие бои,
Дорогою расплавил
Подшипники свои.

И все так было просто.
С другими вдалеке,
Покинут на погосте—
В последнем тупике.

Над ним ветры гудели,
И сталь точила ржа.
Семья ромашек белых
Цвела на бандажах.

. . . . . .

___

И вот вчера пред нами
При ярком блеске рос
Прощался с тупиками
Последний паровоз.

---

*ИВ. ЧУЕВ.*

## ПОДМАСТЕРЬЕ ЕГОРОВ.

Он, как всегда, в кругу забот,
Станками правит ловко,
Ему совсем неведом пот,
Суха его „спецовка".

И ключ в руке—всему закон,—
Закон детали каждой,
Он командиром у станков
Расхаживает важно.

Ручьем белесым полотно
Ритмически струится,
А небо нынче за окном
Заголубело ситцем.

Капризы зная всех машин,
Не любит бабьей склоки,
Он не бывает без причин
К своим подручным строгим.

А если он ушел опять
В романтику, мечтанье,—
Мечтает, как в цеху поднять
Бригад соревнованье.

Его бригада впереди,
Но хочет двинуть дальше,
Он лучший первый командир
На нашей великанше.

---

*АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ.*

## ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПРИ КОЛХОЗЕ.

*Посвящается В. Залесскому.*

Он раньше всех встает в колхозе.
Еще не пели петухи,
Сидя на жердочках сухих,
Не рылись курицы в навозе,
А он одет, готов для дела—
Трудом прожженный поседелый.

***

Гудит насупившийся парк,
Река курлычет в отдаленьи...
И вот ведет его тропа
Сквозь ветровое вдохновенье
В сарай, что высится над плесом,
В мир передаточных колес,
Шкивов, ремней...
Молчат колеса,
Вчера начищенные влоск.
Недвижны стрелки амперметра,
Повит спокойствием вольтметр...
А за окном проходят ветры;
Вода с плотиною во тьме,
Затеяв распрю, стонут глухо...
Он поворачивает ухо.
Выходит и, воде дав ход,
Уже к рубильнику идет.

***

Электроламповый народец
Раскрыл глаза...
И рев и мык...

Как флюгер на юру, колодец
Скрипит, как водовоз, старик.
Мальчишка в колокол ударил,
Мальчишке вторят в унисон
Кастрюли в кухонном разгаре...
В столовую со всех сторон
Колхозников вплывают пары...
Проходит полчаса. И вот—
Вновь рассыпаются удары,
То колокол к труду зовет.

***

А между тем, восходит день
Над изголовьем деревень.
Остановив машины бег,
Всем лампочкам закрыв глаза,
Спешит сутулый человек
Свое уменье показать
На новом деле,—на ремонте
Сельскохозяйственных машин.
Он званья спеца не уронит
И не сойдет с своих вершин...

---

Не тракторы, а бронечасти
Ползут дорогою зари...
Товарищ! Что ни говори,
Я рад носить такое счастье:
Итти бок-о-бок с ним в строю,
А если нужно—пасть в бою.

*Коммуна им. Кубяка.*
*Ярославский округ.*

---

*СЕРАФИМ ОГУРЦОВ.*

## ШЕСТНАДЦАТОЙ БОМБОЙ.

Полощут над нами
Светлей и чудесней
Ударного времени
Гордые песни...

Горняк рапортует:
—В решающий час
Донбасс пятилетке
Угля даст!..

Чтоб жизнь полыхала
Немеркнущим маем,
Мы землю заставим
Пылать урожаем!..

Мартены взывают:
—Топлива в топки!
И фабрики просят
Ферганского хлопка.

—В шахтах, заводах,
На ленинской стройке
Дадим пятилетку
В кратчайшие сроки!..

Чтоб зрела страна
Созидательным жаром,
Шестнадцатой бомбой,
Сильнее ударим!

*Иваново-Вознесенск.*

---

*С. КОТКОВ.*

## МАРШ ПИОНЕРОВ.

Стройная,
свежа ты,
Песня,
Ой!
Впереди
вожатый
Бо-
е-
вой!
Перекаты
белые
Чуть
пылят.
Бодрые,
умелые —
На
по-
ля!
Ну,
еще удар,
шаг.

Ног-то
сто,
Финиш
марша —
Группа,
стой!
Сигнальную
звень я—
В музыку
строф,
Лагерем,
звенья,
Вкруг
костров.
Отдых,
отдых,
Ночь
го-
рит,
Розовые
воды—

Флаг
за-
ри...
В переплеске
шуток
Шаг
всерьез,
Линия
маршрута—
На
кол-
хоз!
Стройная,
свежа ты,
Песня,
Ой!
Впереди
вожатый
Бо-
е-
вой!

---

## ЧИСТКА.

(ИЗ ПОЭМЫ „БАКТЕРИИ И ПРОРЫВ").

Вместо эпиграфа.
Юлин—директор треста.

Впитывая аудиторию глазами,
Собрание по чистке партийной (Как?
Вот не ожидали, товарищ Заммен!)
Открыл представитель облКК.

Секретарь Заммен и сам в недоумении:
— Позвольте, чистка в такой момент,
Когда не налажены более иль менее
Проектирование планов и смет,—

Равноценна срыву! — Но члены проверкома
Переглянулись и дали понять,
Что функции треста им уже знакомы,
А дело отлагательств не терпит дня!

Заммен докладывал ультра-точно:
Нытикам, „левым" дан отпор;
Острие самокритики не сточено;
Выдвижение идет... в лавкомы ЕПО.

Непартийный блок стратегически медлил
По линии бюро суждение иметь,
Ехидно вопросов накидывая петли,
Принимая во внимание бюджеты семей.

Кто склонен думать, что в тресте и ранее
Глушили самокритику!? глушителей нет!
Однако на „пикантном" партсобрании
Кроткие щупали портмонэ.

В их понимании из каждого „против",
Против начальника, кто б ни был он,
Вытекает последствие: на повороте
К новой карьере тьма препон.

Чистили Юлина. — Благоговейно
Члена КК омигивал „блок".
Была биография романтикой овеяна...
Акопьянц недоволен:—Развел монолог!

— В партии с Бреста, в уклонах не замечен.
— А все-таки были? — в углу смешок.
Товарищ Юлин заговорил резче;
Кончил биографию — харрошо!

В прениях первая — Эльман Софья:
— Экземою болен трест „Текстиль“;
Накожные люди. К чему философия?
Срочную чистку штата провести!

Я прямолинейна — специалистам
Реконструкции чужд процесс;
Крутит за болтающих „вы-ста“, да „мы-ста“;
Чортом Юлин, в одном лице.

А люди с производства? Их выдвижение
Обыкновенно рвется там,
Где они не подходят „телосложением“...
Реплики: белиберда! глупота!

Слово Акопьянцу: — Я прежде честен,
Но пусть директор укажет факт,
Когда моя база, по вашему — в тресте,
Перепутала маршрут — Оренбург на Уфа?

— Это было в мае текущего года,
Вы заведуете базой — обязаны знать!
Оппонент улыбнулся ластиково: о, да!
Товарищ председатель, у нас—грызня!

---

*А. ТОЛДИН.*

## ПЕСЕНКА.

Рабочий-сезонник
Кряжистей кряжей,
Он выстроил дом нам
В пяток этажей.

Пила и топор—
Говорливый народ.
А дом ведь похож
На большой пароход.

Что вышел из верфи
В Октябрьский канун
Навстречу эпохе
Великих коммун.

Квартиры-каюты,
Сто восемь кают.
За ним и другие
Дома поплывут.

Пила и топор
Завершат свой поход;
Они—говорливый,
Но дельный народ.

*Иваново-Вознесенск.—БИВМ.*

---

# КУЛАК.

(ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ РОМАНА „ГАРЬ").

## I.

Проводив мужиков на крыльцо, Опарин запер за ними дверь и отнес лампу сторожихе.

— Лидия Абрамовна дома будут? — спросил он, вытирая платком черную лопаточку усов.

— Где ж ей быть? Известно... с вашим сынком весь вечер читают! — охотливо отозвалась старуха и противно хихикнула. — «Будто не знаешь»,—говорил смех.

Старуха пустилась было в россказни.

— У нас, Иван Лександрыч, опять главная печь пошаливает. Все дымит и дымит... Ты, как есть школьный совет, должен, стало-быть...

— Ма-а-ту-шка, десятый раз ты мне про печь толкуешь! Знаю, знаю!

Опарин сморщился, строго шевеля червяками бровей. Спрятав носовой платок, он достал трубку, набил ее махоркой. Прикуривая, спохватился, опорожнил трубку и закурил дешевую папироску, добыв ее из какого-то заднего кармана.

В темном коридоре он ловко обошел знакомые кадки с водой. Из квартиры учительницы донесся веселый смех. Опарин долго стоял в нерешительности перед дверью, отчетливо слыхал, как ворковал бас в переменку с мурлыкающим женским смехом. Ему вспомнилась жена, в молодости она была вот такая же хохотунья, а сейчас—старая, больная, и совсем разучилась смеяться. И он стареет, того и гляди сгорбится, закряхтит, — недаром на висках просочилась седина.

«Что мне с ним делать? Ну, что мне с ним делать? — прошептал он, раскуривая притихшую папиросу. — Того и гляди... сойдутся».

Эта мысль привела его в бешенство. Закусив папиросу, он дернул дверь. В щель брызнула золотая струя света... Она ударила в глаза Ивану Александровичу; жмурясь, он поспешно притворил дверь и, только постучав, снова ее открыл.

— Добрый вечер, Лидия Абрамовна!

Они сидели на стареньком мягком диванчике, в приятном розовом полумраке. Ему показалось, что Виктор прижимает ее

за талию и учительница, когда Опарин вошел, не вдруг освободилась.

— Ах, Иван Александрович!... Неужели так скоро кончилось собрание? — Лидия нагнулась, подняла с полу раскрытую книгу и встала.

«Ей неловко. Значит, что-то есть... Почему они не сидят врозь на стульях? Они липнут друг к дружке и, наверное, уже... целуются».

Борясь с ненавистью, совсем похожей на ревность, он, не отвечая, снял шубу, привычно повесил ее на крючек у печки.

«Но что же мне делать?»—мучился он в беспомощности. Он заметил, что сын наблюдает за ним и губы его сложились в горькую усмешку. «Конечно, он догадывается... Ишь глазищами уперся, негодяй!»

Обдернув пиджак, он шагнул в розовые сумерки и тут взгляд его упал на зеркало. Опарин проходил мимо его блестящей спокойной поверхности не больше двух-трех секунд и все-таки отлично поймал свое изображение. В зеркале на него взглянуло и пропало румяное, совсем омоложенное бритьем лицо. Лопаточка усов была так черна, что он даже подумал — уж не испачкался ли где. И в ежике волос он не нашел страшной седины, — подобно усам, волосы даже чересчур чернели. Улыбаясь, приметил Опарин крепкие приподнятые плечи, выгнутую в полрешета грудь. И чувствуя, как без малейшего напряжения шаг его становился легок и отрывист и яблоками играют мышцы рук, — и радуясь этому, — он повеселел. Здороваясь с учительницей, улыбнулся совсем запросто, — углы верхней губы приподнялись и в оскале зубов блеснули клыки.

— Мелева было много, а помолу нет... Докладчик не приехал!

— Волокита! — убежденно пробасил сын, потягиваясь на диване. Обходя его вытянутые ноги, отец невольно удивился — «И в кого уродился такой длинный?»

— Нет никакой волокиты, — сказал отец внушительно. — Просто некогда было человеку. У товарища Николаева дел всегда не переделаешь.

— Зна-аем мы эти дела! — не сдавался сын. — Бюрократизмом провоняли... Вот у нас в городе, так чуть заволокитится кто—мигом под суд, из партии долой и так далее.

— Не люблю я Николаева, уж очень много он о себе понимает. Серьезно! — сказала Лидия Абрамовна и принялась ходить по комнате, как она всегда делала, когда говорила, по ее мнению, очень важное.

— Однажды он делал доклад. И что ни слово, то—я... я... я... «Я считаю... я утверждаю... я константирую»... Подумаешь, какой Ленин! А главное неприятно—человек не образованный, одной фразы правильно не скажет, все: значит, значит, значит и...— Ей вдруг пришла в голову мысль, что в переброске в волостную

школу, о чем она просила вик прошлый год, ей отказано непременно по требованию Николаева. Она забыла, что в волостной школе не было свободной вакансии, что вик постановил, как только вакансия будет — закрепить место за Лидией Абрамовной. Убежденная в другом, она не могла сказать иначе, как: — И... по-моему, он нехороший человек. Вот и все.

— Определенно! — авторитетно подтвердил Виктор, хотя минуту назад он хотел возразить насчет необразованности и напомнить, что и образованные люди часто имеют некоторые речевые недостатки. Он хотел этим подчеркнуть свою беспристрастность, но, пообыкновению, не овладел мыслью и сказал то, что просто подвернулось на язык. — Хотя я его лично не знаю, но думаю — бюрократ он. В деревне все работники — бюрократы.

— Бюрократ, бюрократ! Он, например, меня на переподготовке хотел провалить,—торопилась ходить и говорить учительница, некрасиво размахивая коротышками рук. — Спрашивает: что такое партия? Понимаешь, Виктор? Что такое партия... Я отвечаю, слово в слово, как у Коваленко. Нет, говорит, очень кратко, — расшифруйте... Хорошо, расшифровываю. Он, понимаешь, Виктор, опять — нет, очень кратко. Тут я вышла из терпения и прямо ему: товарищ Николаев, загляните в Коваленко, там написано именно так, как я говорю! А он, знаете ли, мне свысока: «Извините, товарищ шкраб, я не Коваленко, а Маркса читал и читаю, и знаю, что спрашиваю...» Хвастун, хвастун! — воскликнула учительница, как маленькая девочка, капризно притопывая каблуками. — Я убеждена, — он и в глаза «Капитала» не видал и вроде нас грешных Коваленко от корочки до корочки вызубрил.

Опарин любил, когда Лидия Абрамовна ходит и сердится. В такие минуты она ему казалась маленькой и родной дочкой. Тихо посмеиваясь, он с отцовской нежностью разглядывал ее бледное лицо. Оно было с кулачек, подвижное, с беспрестанными гримасами: то дергались и выворачивались губы в бок, вверх и вниз, то морщинились в презрительную трубочку — и вдруг брызгали во все стороны улыбкой; потом на смену губам приходило подергивание щек, или щурились серые, на выкате глаза, казавшиеся чересчур большими для маленького лица. На плоской фигуре, как на доске, без мягких, круглых складок, свисало дешевенькое застиранное платье.

«А ведь ей двадцать лет с небольшим. Пофорсить, поди, хочется и нечем»,—подумал он, и тихая радость сменилась грустью. Ему было обидно за Лидию Абрамовну, за ее линючее, как у деревенской бабы, платье, за дыру на грубом вигоневом чулке. И вдруг захотелось видеть ее наряженной в атласное, как у попадьи, платье, в просвечивающие икры чулки, в белые туфли на высоких каблуках...» Подарить бы чего... Да разве примет?»

Вздернув верхнюю губку так, что обнажились верхние молочные десны и прочищенные зубы, Лидия Абрамовна присела на

диван. Опарину показалось, что она прижалась к Виктору и он прижался к ней, и у обоих задрожали губы. Иван Александрович намеревался сказать, что Николаев уезжает из волости, но, что, тем не менее, он очень умный человек и прекрасный работник, но, взглянув на диван, не овладел собой и, горячась и негодуя, громыхнул стулом.

— Виктор, иди домой! — закричал он, показывая клыки и не сразу понимая произнесенные слова. Но тут же испугался собственного крика. «Что я сказал? — Зачем?» — ужаснулся он.— «Да, не надо, не надо!» —убеждал он себя и опять повторил глупую фразу, правда, немного тише, сорвавшимся, чужим голосом.

Не отстраняясь от женщины, сын опустил припухшие веки, точно ему было стыдно за отца.

— За-че-ем? — спросил он, наивно округляя глаза и снисходительно улыбаясь. «Я знаю, я понимаю, — говорила улыбка, — но это ж глупо»...

«Ничего ты не понимаешь,—бесились глаза отца, — молокосос! Падеро!»

Ему было стыдно и он с трудом вышел из неловкого положения.

— Я жду Якова Васильевича... Да, Якова Васильевича, надо же гостя встретить!..

— Так и иди сам, встречай, папаша! — хитрил, то ли не понимал Виктор.

— Сам с усам!—неудачно пошутил отец и, торопясь, перевел разговор на Николаева, горячо его расхваливая. С дивана ему возражали, начался оживленный спор.

Вскоре пришла Аннушка и действительно сказала, что приехал Яков Васильевич и дожидается.

— Говорил я! — обрадовался Опарин, хотя задним числом оправдывая свой глупый поступок. — Пошли, Виктор... Всего доброго, Лидия Абрамовна!

— Я, папаша еще посижу маленько...—начал было сын, с неохотой подгибая длинные ноги. — Мне, папаша...

— Вот твое пальто, — подал Иван Александрович и плечом толкнул сына к двери.

— Завтра поедешь в город, — сказал он, когда они вышли из школы. Это решение пришло неожиданно, без обдумывания, а, между тем, оказалось удачным. «И как я раньше не догадался? — дивился Опарин. — Послать его в город и все кончено». Он не хотел продолжать мысль дальше, это — «все кончено» — было чересчур соблазнительно.

— Поедешь завтра в город, — повторил он, сдерживая непонятный страх и радость.

— Каникулы, папаша, кончаются в пятницу, я хотел...

— Неважно, — оборвал отец. — Есть дело.

И тут же его придумал:—Крахмал свезешь, а деньги—почтой...

## II.

Он задержался у порога, наслаждаясь собственной избой. В приятном расположении духа он делал так часто. Доставляло большое удовольствие прикинуться чужим, пройти кухню с иконами, или—как он говорил—«бабьи хоромы», и с порога, точно впервой, оглядеть горницу.

Эта «чистая половина» была не велика, но Опарину нравилось то, что изба была предусмотрительно разделена на две комнаты, имела широкий круглый стол, стулья, хотя и самодельные, но совсем отличные; высокий складный комод с будильником и базарными статуэтками; добрую точеную этажерку, своей работы, заставленную стопочками книг; и светлые, в голубую полоску, обои; и красные половички от порога до красного угла. Он любил смотреть в этот красный угол, где висел портрет Ленина в черной рамке и портреты других вождей революции, а под ними — собственноручно составленный и раскрашенный — план перехода села Глебова на волокамовское восьмиполье.

— Заждался, друг? — приветствовал Опарин гостя. — Извини, в школе лясы точил...

И не утерпел, чтобы не похвастать:

— Ну, как тебе моя хибара нравится? Ты ведь у меня, кажись, давненько не был?

Яков Васильевич прикоснулся слегка к ладони хозяина. На худощавом начисто-выбритом лице проползло неудовольствие, он поморщился. Его коробило панибратское отношение Опарина. По долгу службы Якову полагалось быть чужим и важным. Шутка сказать: главный закупщик кооперации! Кроме того, у него были и другие причины не выказывать особенно расположения к Ивану Александровичу. Он не хотел отвечать на неуместный вопрос, справедливо полагая, что такие разговоры могут только повредить служебному делу, но хозяин, настаивая, переспросил. Тогда Яков взял на руки, как дитя, портфель красной кожи, сочно щелкнул замком и уклончиво ответил:

— Ладно живешь.

— Аннушка, чаю! — приказал Опарин, садясь к круглому столу, на белоснежной скатерти которого стояла отличнейшая лампа — «молния» под матовым абажуром. — Так, говоришь, ладно? А может, не ладно? — смеялся он. — Ну, говори, говори... С тобой разговориться, что меду напиться!

«Он знает за чем я приехал и — важничает. Пожалуй, ломаться будет...» — Яков пристально и враждебно взглянул в улыбающееся скуластое лицо Опарина и сердито прикрикнул:— Зачем бахвалишься? И так знаем, что ты наш человек!

Он хотел этим унизить Опарина, но цели своей не достиг. Тот весело хохотал, оскалив клыки.

— Я их очень люблю! Да, да, честное мое слово! — смеялся Опарин, обнимая коленко—и раскачиваясь.— Веришь ли, как

приеду в город—терпенья нет в магазин сходить, дескать, нет ли новых каких... А дома... сидишь это, делаешь свое дело, да и посмотришь на них... да и спросишь... — Иван Александрович откинулся на стуле, чуть повернув голову в красный угол.—Да и спросишь: так или не так?.. А тебе Ленин и подмигнет... так, дескать, Иван Александрович, заворачивай круче! Ха-ха-ха!

«Он смеется надо мной и ясно, что не согласится на предложения правления»,—убежденно решил Яков, в досаде сердито фыркая.

— Все это глупости, — сказал он небрежно и, словно в доказательство этого, стал усиленно сморкаться.

— Да не-ет! — воскликнул Опарин, прихлопывая ладонями. — Я, друг, вас, большевиков, во-от как, на скво-озь вижу! — Он пододвинулся к Якову и, налегая на стол выпяченной грудью, мечтательно прищурил глаза. — Хи-итрые вы, о-о! Так просто посмотришь — будто все на своем месте: советская власть — сама по себе, большевики — сами по себе... Ан, нет! И власть и большевики — те же штаны, только гашником назад. Ну, сам посуди: вы, друг, все в свои руки взяли... Не так, говоришь?

Аннушка подала чай в стаканах, по-городскому. Любезно подвигая душистую помадку, Опарин наклонился еще ближе.

— Не так, говоришь? — переспросил он тихо. — А вот смотри... — Он выставил напоказ пять толстых волосатых пальцев с хорошо обрезанными, чистыми ногтями. — Кто их руку держит — в партию записали, раз, — загнул палец. — Теперь, кто ни то, ни се — в союзы, то-есть в профсоюзы, я хочу сказать. Это — два... А три — молодежь. И ее к рукам прибрали, комсомол, стало-быть, обучение коммунистической науке. Да... Ну, и бабы там,—тоже организация, женотдел. Значит, четыре?... Детишек, маракасов, и то под себя норовите взять — пионерия... пять! — Он сжал подогнутые пальцы в кулак и показал его Якову, радостно подмигивая. — Видишь, как крепко задумано? А я разгадал... Постой, ты думаешь, друг, я вас ругаю? Да не-ет, люблю я за это! Люблю! Да... И потому люблю, что с вами не пропадешь. Это не авось, да небось, — ваш брат все наперед знает, все видит. С вами, друг, не пропадешь... Сейчас, сейчас доскажу. Про коммунию говорить не будем: это еще бабушка надвое сказала, либо дождик, либо снег... А вот возьми теперешнее. Уж нечего греха таить, ругаем советскую власть почем стало. В школе у нас сегодня... Ну, сам знаешь, старая песенка. Теперь вспомни семнадцатый годок, или девятнадцатый. Каково жилось? Думали, конец свету пришел. С голодухи люди мерли... И поди ж ты, выехали на своих-двоих!.. Смотри, папиросы курю...— Иван Александрович достал из заднего кармана брюк пачку, обмял папироску и продолжал: — Папиросу видишь? А в девятнадцатом сенцо да редьку сушеную за милую душу курили. Вот и чай с конфетками пьем. А в восемнадцатом у тебя сахаринишко-то всегда

был, а?.. То-то и оно... Вы, большевики, друг ты мой, большое дело задумали, ух, большое. Не дожить только, пожалуй, а то бы...—Он замолчал, поднял сжатый кулак, верно хотел ударить им по столу, но раздумал, тихо опустил руку и забарабанил пальцами.

Яков воспользовался минутным молчанием, чтобы оборвать этот хвастливый и совершенно ненужный разговор. Он сказал, отхлебывая крепкий горячий чай.

— Я к тебе по делу... — И поспешно, чтобы Опарин не зазнался, добавил: — По маленькому.

— Что ты говоришь? — удивился хозяин. — А я думал на перепутьи заглянул.

— Да, именно так,—согласился Яков, досадуя на свое неудачное начало. — Совершенно верно, на перепутьи. И между прочим, так сказать, дельце... В правлении другому хотели отдать... — Он прикрыл один глаз и улыбнулся, довольный выдумкой. — А уж я, по старой памяти, тебе его схлопотал.

— Очень благодарю, Яков Васильевич! — склонился Опарин. — От души спасибо!

— Да... а дельце такое... этакое... — вяло стал тянуть Яков. — Маленькое, конечно, — опять подчеркнул он. — Ну, такое... крахмал, словом... Для кооперации не совсем выгодно, вернее, совсем в убыток, да... Бородулин, знаешь, за мужика хлопочет.

— Хороший человек, Дмитрий Максимович! — с любовью отозвался Опарин, медленно отпивая чай.

— Хороший-то он хороший, да в убыток торгует... из-за своей жалости. Ведь дешевка сейчас крахмал, никто не покупает.

— Не правда! — живо возразил Опарин и закашлял, поперхнувшись чаем: — Вот уж... к-хе... совсем не правда!

— Ты не знаешь рынка, — вздохнул с сожалением Яков.— Нипочем крахмал, верь мне... Ну и вот... И однако, Бородулин решил его покупать, — вдруг заспешил он. — Будет убыток, грит, а надо мужику помочь. Вот и предлагаем тебе вроде поставщика по крахмалу быть. — В спешке Яков проговорился, — теперь выходило, что правление не кого-нибудь, а именно Опарина имело ввиду. Незамечая ошибки, Яков продолжал, смешно обрывая и недоговаривая слова.

— Ты знаешь... терошников и терку... С'езди... Мужиков тебе... жалование рублей пятьдесят. И как выгодно очень... Член волисполкома, вот, значит...

Яков ошибся, думая, что Опарин будет ломаться и набавлять цену, хоть для этого имелись все данные.

— Я согласен, Яков Васильевич, — просто сказал Опарин и кликнул Аннушке, чтобы она подала еще чаю. — Но, с одним условием...

— Тебе мало полсотни рублей? — надул синие, невеселые губы Яков, обретая дар связной человеческой речи. — Тебе ма-

ло? — воскликнул он, в негодовании отталкивая пустой стакан.— Ну, знаешь...

— Напротив, мне ничего не надо, — кротко сказал Иван Александрович и вздохнул: — вот мое условие.

— Шутник!—закусил губу закупщик, притворяясь, что понял Опарина. — Больше пятидесяти не получишь! — Он погрозил средним пальцем.

— Мне ничего не надо, — повторил Иван Александрович и зевнул.

Сбитый с толку таким неожиданным поворотом дела, Яков примолк, нагнувшись к стакану. «Рехнулся, или себе на уме? — Ах, хитрая образина!»

— Ты хочешь сказать, что... тебе не надо никакого жалования? — не поднимая головы, наконец, спросил он.

— Никакого,—покорно согласился Опарин. Из сахарницы достал затвердевшую помадку, сломал ее двумя пальцами и жадно пожевал.

— Спасибо! — схватил его за руку Яков. — Я, как коммунист, тебя приветствую за это. Я так и знал, так и знал, ей-богу...

— Не благодари. Ведь я член волисполкома, неудобно. — Опарин не скрывал, что ему жалко пятидесяти рублей, но он покорялся своей участи. — Все, что могу — сделаю...

Он посмотрел в красный угол и вдруг повеселел:

— Деньги — прах, ну их в тар-тарарах!

Проводив закупщика, Иван Александрович столкнулся на кухне с женой. Горбатая, с подоткнутым подолом, она чересчур переставляла корчагу с водой. Босые, в голубых узловатых венах, ноги противно шлепали.

«Господи, и я живу с такой старухой? — с горечью подумал он. — Какое наказание!»

Ему захотелось браниться, кричать и бить эти отвратительные, изуродованные ноги.

— Где Виктор?

— Спит Виктор... помоги-ко в печь корчагу поставить.

— А поди ты к чорту! — завизжал по бабьи он, совершенно некстати размахивая руками. — К чорту!—хлопнул он дверью горницы.

Читая газету, слыхал, как на кухне долго всхлипывала и причитала жена, ее шепотом успокаивала Аннушка. Он подождал, пока они заберутся на печь, и прошел к рукомойнику, — аккуратно вычистил на ночь зубы.

## III.

У школы Опарина нагнал и окликнул председатель сельского совета: — На пленум? Что больно рано, дядя Ваня? Здорово!

Опарин молча слез с саней, привязал лошадь к палисаду и снял кожаные перчатки.

— Здравствуй, Костя... Да, на пленум. — ответил он, обмахивая шубу, крытую темно-синим сукном.— Сейчас к Лидии Абрамовне забегу и — в волость.

— Куда гонишь? Чайку бы попили и поехали вместе. У меня, слышь, лошадь захромала.

— Нет, уволь. Не могу.

В неудовольствии оттопырил Костя нижнюю губу, метнул глазами на школьное крыльцо и приподнял белесую левую бровь в знак того, что догадывается. Прищурился и свистнул. Опарин покосился на него, кашлянул.

— А может, свезешь? — снова спросил Костя, с хитрецой кивая на школу.—Я не помешаю, ей-богу!

— Вот пристал, как банный лист! — рассердился Иван Александрович, отшвыривая ногой мерзлые снежные стружки. — Сказано, не могу. Понял?

— Жа-алко! — вздохнул Костя, расставаясь с приятной мыслью с'ездить на даровщинку. — Жалко... А я думал, авось, мол...

— Авось — надежда плохая, — сухо отрезал дядя и, старательно обив снег с валенок, стал подниматься на крыльцо, прямой и строгий. Розовые отблески пробежали по шубе и застряли в черных подстриженных усах. Жмурясь, Иван Александрович улыбнулся, под усами перламутровыми пуговками заиграли зубы. Расправив плечи, он ухарски заломил каракулевую шапку.

— А день-то, Костя, хороший будет. Э?

«Для тебя... Молодишься, старый чорт! — подумал Костя, поворачивая обратно.

— Костя, постой! — крикнул с крыльца Опарин. — Слушай, друг, сколько раз я тебе говорил... Опять Трифоновы самогон варят. Что смотришь?

— А ну их...—отмахнулся председатель сельского совета. — Тебе какая забота?

— Смотри, — погрозил Опарин. — Хоть ты и племянник мой, а хвост накручу! Не забывай свои обязанности, друг! Слышишь?

Костя досадливо сплюнул и быстро пошел прочь. Он не любил, когда дядя вмешивался в его работу. «Провели в члены исполкома, так и нос поднял. Трепло жадное!»

Опарин застал Лидию Абрамовну за чаем. Круглый никелированный самоварчик высвистывал песенку. На белой, не помятой скатерти зеркалился поднос с чашечкой, тарелкой с хлебом и маслом. В смешной нежности обласкал глазами Опарин пузатый самовар, поднос, зеленую, с цветочками, фарфоровую чашечку. В этой начищенной, аккуратно расставленной утвари, он увидал самую Лидию Абрамовну — чистенькую, хрупкую, порядочную. Радуясь, чувствовал он, как свежеет его собственное лицо, точно спрыснутое еще раз одеколоном, и движения тела принимают волнующую легкость.

— Аккуратная... Раненько встала. Доброе утро!

Пожимая худенькую, недеревенскую, руку загляделся на подвижное лицо, на приятно выпяченные губы. Пошутил:

— Кто встал пораньше—шагнул подальше. Так что ли? Ха-ха!

— Кто раньше встал... вот именно! Чаю хотите?

— Мерси, так сказать, пил.

Посасывая папиросу, он наблюдал за пальчиками, ловко обламывающими хлеб с маслом, и мечтал, зная, что мечта его сейчас будет осуществлена. Он закутает Лидию Абрамовну в тулуп, сядет рядом и подберет вожжи. Самолет в нетерпении заплясшет и рванет. Колокольчик зальется... Птицей они пролетят село и останутся одни в поле. Он нарочно будет сдерживать лошадь, чтобы растянуть путь до волости. Он будет часто спрашивать— не озябла ли она... и тулуп...

— Тулуп я вам новехонький приготовил. В теплоте поедете.

— Тулуп?.. Ехать...—Лидия Абрамовна, прожевывая хлеб, удивленно заломила брови.

— Да, тулуп, — ласково отозвался Иван Александрович, закутываясь дымом. — Пейте чай и поедемте. Денек сегодня выдался солнечный, пресолнечный.

— Ах, да... Я совсем забыла... Она звякнула чайной ложкой и опустила голову; надулись губы и запрыгали вверх и вниз.

— Я не могу. Я совсем, совсем забыла! — сказала она, принимаясь ходить по комнате. — Вы понимаете, Иван Александрович, вчера прислали из женотдела наряд. Провожу собрание делегаток.

— Где? — тихо спросил Опарин, стараясь не глядеть на учительницу.

— У нас, в селе... Мне так хотелось, так хотелось прокатиться в волость! И нельзя... Отказаться нельзя, — вы понимаете? Какая же я несчастная! — воскликнула она, капризно сморщив нос и по-детски хныкнула.—И мне неудобно, что я... ваши хлопоты...

Иван Александрович смял папироску и закурил новую. В ушах назойливо дразнился серебряный колокольчик.

— Не велики хлопоты, — сказал он, отворачиваясь к окну. Розовые блестки потускнели, зеленоватая обледень стекла не пропускала солнца. Казалось, на улице разгуливает серый, скучный день с мятелью и стужей.

— Может, тогда... купить чего? Я привезу.

— Добрый! — улыбнулась Лидия Абрамовна, и у Опарина как-то отлегло в груди. — Пожалуйста, купите... Впрочем, нет, не надо.

— Куплю, куплю! Мне ничего не стоит, в лавку все равно пойду. Чего купить?

— Манной крупы и подсолнечного масла. Но, знаете, у меня... финансы...

— Не беспокойтесь!—поспешно сказал Иван Александрович, поднимаясь. Он обошел стол—и широкие полы его шубы обняли учительницу.

— Да я... для вас...—Задыхаясь, он схватил ее руку, сжал, потянул к себе — и поймал беспокойный взгляд. Стиснув зубы, медленно выпустил обжигающие руки.

— У меня деньги есть, после рассчитаемся,—сказал он, застегивая шубу. Давайте под масло посуду.

Он вышел на улицу и засунул тулуп под дерюгу, в сено. Самолет, скосив бегающие глаза, копал снег и фыркал. Опарин сердито прикрикнул на лошадь.

«И куда я в такую ранину приеду? В десять назначили, в двенадцать соберутся... Разве махнуть к Косте, чайку попить,— да вместе на пленум?»— думал он, подтягивая чересседельник. Но отчетливо встала и загородила дорогу насмешливая улыбка племянника, сдобренная ядовитыми прищурами глаз.— Нет, ему нельзя пить чай с Костей и вместе ехать.

«Поеду-ко я в Грибаниху, к терочникам. В самом деле, давно пора... И к Кудрявцеву загляну кстати. Вот забыл!» Оживляясь, он по-хозяйски оглядел упряжь, еще раз переделал чересседельник, чуть распустил туго-стянутые клещи хомута.

— В Грибаниху! — громко сказал он, укрепляясь в решении и настраиваясь по-деловому. — А ну, Самолет!..

Под полозьями взвизгнул снег, встрепенулся колокольчик и разлился приятным звоном.

Дорогой Опарин хотел и не мог думать про свои важные домашние дела. То, что обычно было самым главным, дающим радость и гордость, — теперь казалось никчемным, нестоящим внимания.

«Как глупо устроена жизнь!—подумал Иван Александрович, тоскливо закрывая глаза и опуская вожжи. — Лучшие годы уходят на работу. Ломишь, гнешь — и для чего? Для того, чтобы умереть, не поживши в сласть?.. Вот возьму, продам все, да и махну в город. Пропью к чорту и... умру... чтобы никому не доставалось».

Он представил себе на минуту, как барышник покупает Самолета, коров, овец; как продает он дом и все нажитые вещи, хвалит «товар», выторговывая лишний рубль... И вот — в его доме живет другой, какой-нибудь лодырь и неряха. В горнице висят лоскутья обоев и копоти, на крашеном полу нет цветистых «дорожек», пропал зеркальный комод и этажерка с книгами... Все пропало, остались голые стены и грязь...

«Лодырь и дворец в сортир превратит. Живехонько!» И он почувствовал, как жалко ему дома, как дороги самые маленькие глиняные фигурки, что стоят на комоде. Нет, никогда он не расстанется с домом, ни за какие деньги не продаст даже гнилой щепки! Все нажито, все его и всем он будет пользоваться сам, только сам.

— Не, белых пирогов и в рождество не видали. Какие пироги, Иван Лександрыч, одни коровашки овсяные жрем.

— Лежи на печи, так и будешь... Слыхал? Работать надо, друг!

— Да разве я супротив работы? Да ты дай мне ее, дай, дай... Век не забуду! Христом-богом прошу...

— Есть у меня для тебя дельце одно... — задумчиво сказал Опарин, ловя на столе таракана с яйцем. — Делов как не быть, да ведь только... ты помнишь, о чем я тебе ономнясь говорил?

— Помню ли я!...

— Ну, вот. Опасно, друг. Я, по жалости своей, помогу тебе, а потом узнается, бег весть, что скажут... — Опарин с прискорбием раздавил рукавом пойманного таракана.

— Никто не узнает, Иван Лександрыч, никто! Да разве я враг себе? Хи... — У Кудрявцева посветлели на щеках пятна, бодростью налились плечи.—Промеж нам все будет. Верь слову, верь слову!

— Это одна статья. Теперь — другая... Сам знаешь, бедней всех бед, когда денег нет, — лениво промямлил Опарин. — Денежка-то—ой, как жжется! Прикинул я вчера наши расчеты, выходит... один убыток: инструмент покупать надо, здание потребуется, опять же крахмал-сырец подешевел... Раззор! Ухлопаю денежки и буду сидеть, как рак на мели... Не выйдет!

— Не выйдет? — испугался Кудрявцев. — То-ись, как же так не выйдет?

— А так... не выйдет. Тут надо еще... Да не стоит об этом говорить понапрасну.

— Нет, нет, скажи! Пожалуйста, скажи, скажи! — волнуясь, попросил Кудрявцев, чувствуя, что есть еще какая-то возможность не упустить дело. — Ну, скажи, ну?..

— Не выйдет, друг, говори не говори. Я понимаю тебя и жалею.

— А нет, скажи все-таки? — настаивал и смелел Кудрявцев.

— Господи! — неохотно улыбнулся Опарин.—Уж коли тебе так хочется... Говорю не выйдет, если... сбавку не сделать, — пояснил он, вытирая потное лицо прямо ладонью.

— Сбавку?

Кудрявцев поднял сухие плечи, поежился. По ночам с женой он обмозговал дело. В прежней цене выходило сподручно. Опарин построит терочную, будет давать картофель. Знай готовь крахмал, получай деньгу, да помалкивай. И вот—урез, и вот—не построит Опарин терочную и не даст картофеля.

— Сбавку... маленькую можно... уж коли что, — вдруг шепотом сказал Кудрявцев, косясь на кухню. Можно маленькую. А? — Как?

— Самое меньшее — по гривне с пуда... А впрочем, — спохватился Опарин, — чего мы болтаем зря? Ничего не выпля-

шется. Гривну скинешь — тебе приработка — одни слезы. Ведь я понимаю.

— Да нет же! — прошептал хзяин и сам не вдруг понял, что сказал, охваченный теплой благодарностью, — Пускай... Все таки работе-енка!

— Ну-у? — недоверчиво повернулся Опарин, живо растегивая шубу.

— А потом дурака не сваляешь? Прибавочки, дескать, а?

— Вот те крест, Иван Лександрыч, вот те крест! — зашептал и закрестился тот. — Век буду бога... Да помоги ты мне, ради христа! — закричал он, обнимая холодные неподвижные колени Опарина.

Иван Александрович достал из бокового кармана пиджака записную книжку в кожаном переплете. Под номером три поставил терочную Кудрявцева.

## V.

Опарин перешел к Циколину и велел ему позвать Никиту Шошина, Еремеева и Оладью. Для грибановских терочников такое распоряжение очевидно было нередкость,—они явились немедленно и без всяких распросов уселись по лавкам. Хозяин, поставив самовар, послал сынишку за вином, но Опарин не стал ждать и, вопреки обычаям, без всяких посторонних разговоров о погоде, лошадях и сене, разговоров, в которых узнается человек и осторожно, исподволь, выпытывается,—немедленно приступил к делу.

— Други мои! — сказал Иван Александрович, вооружаясь кисетом и пачкой курительной бумаги. Други, приехал я к вам как член исполкома, и с делом весьма кляузным. Вот уж воистину, на нашего урода—все невзгоды!.. Короче говоря, поручено мне насчет крахмал-сырца вести с вами переговоры, на манер посла.

... Был у меня на-днях Яков Васильевич, закупщик кооперации, плакался-плакался, да и говорит: Вот тебе, Иван Александрович, постановление правления, поручается, как члену волостного исполнительного...

Опарин оборвал фразу, рассасывая цигарку. Он нежно облизал бумажку и неторопливо погладил ее большим и средним пальцами.

— Продолжай, Иван Александрович, — невесело попросил Оладья, вздохом округляя и без того круглые мякоти щек. Что же он тебе сказал?

— А сказал—берегись бед, пока их нет. То-есть, значит, гони крахмал в кооперацию. Договорись, мол, с терочниками, как есть сам ты терочник и член волисполкома. Я ему—помилуйте, ведь говорю...

— Задарма свое добро сдавать?!—оборвал Никита и возмущенно сплюнул и не растер плевка.—Где такие законы?

— Нет таких законов, Евстратыч. Правельно!

— Пусть дадут подходящую цену—с нашим почтением!

— Где им... Они, как коты, наблудили, да и...

— Замытарили, совсем замытарили, хоть бросай все дело!

— И бросим, ей богу, бросим!

Растревоженным лаем повисли крики. Скинув степенность, как шубы, теречники обнажили испуг и обиду. Плюгавенький Шошин неистово стучал кулаком о стол, и мутная слюна текла по его двойной, прихотливо-расчесанной бороде. Хозяин потерял самовар и, взмахивая совком над головой Опарина, казалось высыпал, как в трубу угли. У Оладьи лопнули яблоки щек, в морщинах сочился пот. Оладья теребил за рукав Еремеева и, осиливая его брань, жалостно выспрашивал—есть ли такое право, чтобы товар даром отбирать.

— Нет такого права, не было и не будет... Это все махинации Бородулина, чтоб ему!..

— Нет права... Ясно, Бородулин!—громко подтвердил Иван Александрович и покрыл все и вся на свете матерщиной. Он выругался так красиво, так легко, точно он в этом упражнялся каждый день, с утра до вечера.

— Говоришь, нет права?—пищал Шошин.—Так како ты имеешь сам соваться?... Чего лезешь?

— Эх, красен разговор, да не спор!—воскликнул Опарин, блестя белыми крепкими зубами. На лице его заблудилась улыбка. И чем больше и гневнее кричали терочники, тем веселее скалил он зубы. Улыбка нашла морщины смеха и легла в них в спокойной удовлетворенности. Чуть прищуриваясь, вонзал Опарин узкие кошачьи зрачки в разгоряченные лица, любовался бородой Шошина, вздутыми щеками Оладьи, бешеным совком Циколина. Какой-то неизбежный порядок находил он в действиях и словах терочников, управлял ими так, как было нужно. И хотя иначе быть не могло, почему-то это его немного огорчило. «А я-то думал, они умнее. Люди!.. Батрачить вам, а не терочные иметь!»

Он дал накричаться вволю. Сам розлил принесенное вино, чекнулся и не спеша процедил огненную влагу сквозь зубы. Его примеру последовали и остальные и, выпив, вдруг примолкли, точно вино прояснило им головы и они сообразили, какую чушь нагородили в припадке гнева. Опарин обжег вином гортань, но от закуски отказался. Торопливо налил ее и сказал:

— Выходит, понапрасну я крюк дал, ведь я на пленум вика еду... Ну, что ж... Я так и знал, что вы, други мои, откажетесь. Я так и сказал Якову Васильевичу: — Яков Васильевич! Пустое дело мне вы поручаете. Какой леший сам себе в убыток торговать будет? Выходит—люди пировать, а мы горевать! Платите, говорю, как частник — весь сырец получите. — Что верно, то верно, — отвечает он. — А только ты, Иван Александрович, все-таки с'езди, поговори... Может, сознательность их верх возьмет.

— Чихать мне на сознательность!—надулся Оладья.

— Были бы денежки, а сознательность всегда найдется, а?—повеселел Шошин и важно погладил двойную бороду.

И все улыбнулись, чекнулись и выпили, с облегчением чувствуя, что опасность миновала. Было ясно—никто без их согласия не тронет крахмала. А согласия жди—на будущую осень, годов через восемь!

— Ну, вот... Значит, не согласны—и дело с концем. Не согласны ведь?—спросил Опарин.

— Ясно дело, не согласны!—за всех ответил Циколин. Слава богу, при нэпе живем, торгуем, как нравится... Потому, налог платим и больше знать ничего не желаем.

— Счастливцы!—печально улыбнулся Опарин и щелкнул часами: — Ну, мне пора...

— Почему счастливцы, Иван Александрович? — любезно спросил Еремеев. В благодушии ему хотелось сказать что-нибудь приятное Опарину.

— А как же!—пояснил Опарин. Отказались и взять с вас нечего. А вот я—не могу. Пример должен показывать, потому... член исполкома. Хоть по миру поди, а крахмал им сдай... Эх!—махнул он рукой в огорчении.—Уйду я... из членов! Ну их к чертям, одни убытки...

— Иван Александрович, а нам ничего не будет?—спросил осторожно Шошин.—Как ты полагаешь?

— А чего быть-то?!—легкомысленно воскликнул Опарин, вставая.

— Люди вы хорошие, не плуты какие. Налог платите, землю не прячете, доходы тоже... Али нет?—Он, приветливо улыбаясь, пошел к двери. Радостно благодаря, терочники двинулись его провожать.

— Башковатый ты человек, Иван Александрович!—с восхищением говорил Оладья, грузно переваливаясь с боку на бок. Сидеть тебе в совнаркоме рядом с Калининым и Рыковым, право!

— Постойте, други!—вспомнил что-то Опарин и прищурил острые глаза.—Ну, да... нельзя... Совсем забыл! Или можно?... Нет, нельзя!—раздумывал он в нерешительности.

— Что забыл?—насторожились терочники.—Чего нельзя?

— Дьявольщина! Какой же я растяпа!—жалобно выругался Опарин.

— Чуть не подвел вас. Вот тебе и совнарком... в сортире мне сидеть, а не в совнаркоме. И как я забыл? Ах, ах!—В гневе смял каракулевую шапку и швырнул ее на пол.

— Други!—сказал Иван Александрович и в голосе его послышались слезы. — Мне жа-алко, но крахмал...

— К чорту крахмал!—крикнул Циколин. — Дело сделано, что нюни распускаешь? Баба!

Опарин раскинул плечи и оскалил клыки. В щелках глаз зажглись огоньки и потухли. Сгибаясь, он уронил голову.

— ...Крахмал вы сдадите... кооперации.

— С ума спятил?!—прохрипел Оладья.—Да ты сам ведь говорил...

— Ну да, говорил...—покорно согласился Опарин. —Забыл я.. Ах, други! Они вас подведут, зарежут! Без ножа зарежут!.. И как я мог забыть!—опять спохватился он и покачал головой, дивяся на себя.

— Чорта с два! Какое они право имеют?

— Обожди, кротко попросил Опарин Шошина. — Ты не повезешь крахмал? Хорошо... Завтра тебя оштрафуют рублей в пятьсот за... тайного работника. Да, да! Оштрафуют и—в тюрьму! Они все знают, все... Я забыл... Мне закупщик намекал, если, мол... Понимаете? Тебя, Циколин, взгреют за укрытые доходы. Ты, Еремеев, не получишь кредита. А ты—он взглянул мельком на Оладью —колдоговор помнишь? Думаешь, пройдет даром?... Эх, други, гоните крахмал!.. Убытки наводят на прибытки!—он улыбнулся и почесал руки. Поймал подозрительные вспышки глаз и заторопился. — Конечно, вам виднее. Мое дело предупредить.

Скорбно вздохнул, поднял с полу шапку, почистил ее и, горбатясь, полез в дверь.

— Стой!—сдавленно крикнул Циколин. — Куда ты? Давай решать!

— Чего решать?—проворчал Опарин, толкая легонько плечом дверь.

— Еще подумаете, мне выгода какая...

— Иван Александрович, дадим крахмал!—пискнул Шошин, обдирая бороду,—дадим, обтяпай дельце!

— Выручай!—разевая рот, выдохнул Оладья и, хрипя, плюхнулся на лавку.

— По сколько гребут?—деловито справился Еремеев и налил всем вина

— На 50—60 пудов с носа, меньше не пойдут.

— А ты сам столько отдашь?

— Ну, я особь-статья. Я весь крахмал отдаю... как член волисполкома.

— Какой расчет?

— Выгодно, невыгодно, а чин держи!—устало улыбнулся Опарин, облизывая химический карандаш. — Здыхайловским сами скажите, пусть везут... Нет худа без добра, ей-богу!

## VI.

Вот он стоит, высокий, здоровенный—из камня и железа! Не покачнешь! Дворец не дворец, а полдворца будет обязательно. Можно только с хоромами Золотарева или Пичужкина сравнить. Окна одни чего стоят: топись в свету! И не беда, что на ледяном крыльце упадешь—ногу вывихнешь, а в темном ко-

ридоре окончательно доломаешь. Есть в доме комната, за обладание которой Иван Александрович готов обе ноги отдать. Только б попасть в эту комнату, за широкий стол сесть, бумагами обложиться, пожить, поцарствовать — и умереть можно... Нет, не умереть—дальше, дальше, потихоньку пробираться по чинам да по способностям в уездный город, в дом еще выше этого каменного, в дом, где есть звонки, и телефон, и курьер, и портфель из желтой кожи, пузатый, как самовар. Надавить кнопку—в дверях:

— Что прикажете, товарищ Опарин?

Ничего не прикажет товарищ Опарин, трубку телефонную снимет.

—Алло! Станция? А дайте-ка мне заведующего... все равно какого. А? Слушаешь?.. Ты что ж это, друг, такой-сякой, моих распоряжений не выполняешь?! Да я тебя...

Не пропадут даром труды-хлопоты. Каждый слепой увидит старания Ивана Александровича, по заслугам оценит и голос за него подаст... Разве грань свету—уездный город?

— Иэх! Самолетик! Губернский город есть! Махнем в губернию... Да не на тебе, дружок,—на автомобиле!

Какие речи, какие заседания будет закатывать товарищ Опарин! На первом месте пойдет губерния по всем кампаниям... Напишут «Известия», напишет «Правда»—прославилась губерния, прославился человек! А тут с'езд всероссийский... Ну, и принимай седой старикашка—кремль Ивана Александровича, товарища Опарина! Ахнет Оладья и не вдруг слова сви вспомнит:

— Да кто же там, рядом с Калининым, сидит? Знакомое лицо, а такое важное—не могу догадаться.

— Неужели? Так ведь это Иван Александрович Опарин, секретарь ВЦИК, а может-быть и наркомзем...

— Не верю!

— Чего не верить? Талант у человека... Да вот они сами к вам здоровкаться идут...

Наркомзем товарищ Опарин... Доклад наркомзема товарища Опарина... Крестьяне-ходоки у наркомзема товарища Опарина... Портрет в красках наркомзема Александрыча!... Волость имени наркомзема товарища Опарина... Город Опаринск.. Памятник вождю революции Ивану Александровичу Опарину.

Он знает, что все это мечты, подогретые лишней рюмкой вина. Но какие ж они приятные! Вот так бы лег в сани, накрылся тулупом и мечтал, мечтал без конца, мечтал о том, что само мечтается, тревожит и радует, обжигая кровь. Скрип полозьев убаюкивает песенкой, люлькой укачивает дорога и звенит комаром колокольчик, точно в душную летнюю ночь, под праздник, когда не надо рано вставать, можно слушать комариный звон и в сладкой дремоте грезить самым несбыточным...

Торговой улицей проехал Опарин к исполкому, спустил ноги с саней и отряхнулся. Накрепко привязал коня, укрыл дерюгой

и дал сена. Чтобы чужие лошади не тронули корма, он перевязал Самолета подальше, в самый конец колоды.

В темном коридоре еще раз, наощупь, почистил шубу, откашлялся и закурил папироску. «Верно начали, что-то не слышно, не ходят,—соображал он, прислушиваясь. — Скажу почему задержался, а то еще подумают... главное, он подумает. С первого раза и впечатление нехорошее получится. Как можно!»

Его немного беспокоила предстоящая встреча с новым секретарем волкома. С Николаевым они жили отлично—так, как должны жить секретарь партийной организации и самый передовой по Краснознаменской волости крестьянин. При людях Иван Александрович всегда поддерживал секретаря, как и вообще партию и власть в целом. Он готов был спорить с кем угодно и когда угодно, всегда выходя, по крайней мере для себя, победителем. Его защита мероприятий партии и власти ни чем не отличалась от защиты коммунистов, а иногда была и лучше, потому что он превосходно знал психологию крестьянина и доказательства у него выходили простые и убедительные. Многие считали его партийным и кланялись ему с особенным старанием.

Но это не значит, что Опарин был простым хвалебщиком всего нового и в частности того, что проводил секретарь волкома, нет,—это только значило—Иван Александрович знает время и место разговорам «по душам». Такие разговоры бывали, и нечего греха таить—с матерщинной прямотой, но с той приятной прямотой, которая лишь выделяет и возвышает человека в глазах других. И были случаи, допустим хотя и не часто,—секретарь волкома не только «прислушивался» к замечаниям Ивана Александровича, но и принимал их во внимание, даже больше чем во внимание. Жить было можно, особенно после того, как волостной с'езд советов единогласно избрал его в члены исполкома.

«Каков он, новый-то? Здешний, говорят, его фамилия... фамилия... Батюшки мои, забыл! Ей богу, забыл! Как же теперь я здороваться буду? — перепугался Опарин. — Ну, что за наказание!»

Он промучился минут пять, тщетно пытаясь восстановить в памяти ускользнувшее слово, — и напрасно. Растревоженный появился он на заседании, в смешном, не свойственном ему суеверии, твердил: «Быть беде. Ах, быть беде!..»

Иван Александрович не ошибся, пленум действительно уже начался. В общей канцелярии убрали перегородку, сдвинули столы и заседали в сиянии махорочного дыма. В центре столов восседал Замков, начищая очки. Направо от него, в беспорядке—на столах, скамьях и просто на полу сидели члены пленума, налево, у изразцовой печки, облокотясь на этажерку, сутулился агроном Розов. Он стоял боком к собранию и похоже было, что доклад свой предназначил исключительно для одного секретаря вика, усердно писавшего протокол. Среди членов пленума Опарин нашел: Пудова, Петрова, Николаева, кооператоров, предсе-

дателей сельсоветов (племянник подмигнул ему), — поклонился всем общим поклоном и громким шопотом доложил Замкову, что он, Опарин, задержался потому, что проводил собрание терочников.

Он сел в уголок, осторожно поискав нового партийного руководителя. «Главное, посмелей надо быть, понапористее!» — вспомнил он собственные слова и с достоинством снял шапку, улыбнулся тому, кого еще не видел, но который уже наверняка разглядывает и меряет Ивана Александровича в доль и поперек. «Фамилию у Николаева в момент узнаю»,—окончательно успокоил себя Опарин, привычно отыскав записную книжку с карандашем.

О весенней посевной кампании докладывал агроном Розов.

Он не изменил своей обычной привычке,—говорил в сторону, не торопясь, точно диктуя и обсасывая, как конфетку, каждое слово.

— Теперь уж ни для кого нет сомнения, что главной культурой в волости... в нашей волости должна быть картошка, картофель. Да, картофель, его промышленные сорта: Силезия, Вольтман, Скарбек, может быть, Смысловский, Эпикур и так далее. Это зависит от того, какие сорта мы получим на обсеменение. Сорта, которые разводятся в настоящий момент нашими крестьянами, — ниже всякой критики... Вопрос обсеменения — вопрос первой важности, от решения его будет зависеть, как, в каком маштабе пойдет дальнейшее развитие планового хозяйства волости... Само собой разумеется, что мы должны приложить все усилия для того, чтобы получить сорта, богатые по крахмалу, промышленные, так сказать, сорта и приемлемые по нашей почве. А лучшими сортами, как я уже сказал, являются...

## VII.

После доклада агронома выступил с кратким дополнением Кашин. Он сказал то же самое, что и на партийном собрании, но сказал скороговоркой, не ярко, и с аппетитом лишь прочитал постановление партийцев. Сухо высчитал, какое количество семян, в частности картофеля, потребуется на волость, мельком заметив, что в уезде обещали полное содействие. Затем, медленно и несколько раз под ряд повторил, что весеннюю посевную кампанию и связанную с ней кампанию по вовлечению крестьян в сельскохозяйственную кооперацию надо начать с будущей недели.

Протокольная, неинтересная речь нового секретаря не возымела нужного действия. Если бы речь дышала прежней страстью, как на партийном собрании, если бы Кашин с кем то спорил и, главное, доказывал необходимость на картошке кооперировать крестьянство, доказывал природные условия района, способствующие развитию картофелеводства; ничтожное пока что значение с.-х. кооперации; волчий размах кустарей-терочников, умело

обчищающих амбары и подполья недалеких мужиков; достаточные средства и силы, которыми располагают партийная организация и волисполком, чтобы превратить весеннюю посевкампанию в своеобразный «месячник» по пропаганде картошки и кооперации и так далее,—если бы он все это только доказывал, как что-то далекое, о котором еще долго будут спорить, а делать придется, нет ли—еще неизвестно, если бы все это было так,—тогда нет ничего проще: сиди и слушай. Но в строгом перечне пудов и десятин, в неумолимом—«начать с будущей недели»—каждый почувствовал, что это уже не спор, не разговоры, а дело, конкретное, завтрашнего дня, дело, которое и ему придется проводить.

И каждому стало неловко, не страшно, а именно—неловко. оттого, что все решено, что спорить больше нельзя, надо делать, и каждому подумалось: «Зачем такая спешка? Как бы ошибки не произошло»... Люди смутно понимали, что никакой ошибки быть не может, что ждать—это-то вот и есть ошибка, и тем не менее—нерешительность и явное неудовольствие скользнуло по лицам.

— В принципе все верно,—устало вздохнул Замков,—но...

— Дело не в принципе! — живо возразил Кашин. — Дело в деле, так сказать. Начинаем или нет—в этом суть. —Он пристально взглянул на Алексея. Тот поморщился и опустил сердитые глаза в газету.

— Кто хочет говорить?

Говорить хотелось многим, но только не первым. Эта закоренившаяся привычка притворной вежливости—«пускай другой говорит, я подожду»,—ныне обрела значительный смысл. Одни не хотели взять слово первыми потому, что опасались сказать невпопад, предпочитая отмалчиваться, справедливо полагая—есть же среди них люди, которым «по штату положено» открывать прения и прямо сказать о ненужной, а быть-может и опасной торопливости товарища Кашина; другие, вдруг поборовшие неловкость—«а делать все-таки придется, чего ж волынку тянуть!»—тоже ждали, что найдется кто-то, который лучше, убедительнее скажет, чем эта затертая фраза.

— Может, есть вопросы?

Вопросы все-таки некоторая оттяжка, и вопросы нашлись в избытке. Но когда и после вопросов никто не желал брать слова, Антона охватила обычная горечь на людей. По сытым зализанным лицам прочитал он растревоженное обывательское довольство, жирную лень и упрямую охоту не спешить.

«Вот как! Поковырять в зубах, да пососать палец захотелось!—подумал он, нервно комкая записки. —Болтать языком мастера, а дело делать чужого дядю приглашай! Так-то, товарищи коммунисты... А жить-то, небось, для себя торопитесь?»—Исподлобья следил он за собранием и видел, как настойчиво чистит глиняную трубку Михайло Петров, как старательно грызет ногти Пудов.

Он любил их всех и всегда считал, что они самые передовые и, конечно, во сто раз лучше его, надломанного, несовершенного человека. И вдруг ничтожеством пахнуло от них, и уж не горечь обиды, а жалость охватила его, жалость, смешанная с презрением.

«Чутье теряете... Хватки нет. Обросли, огрузли»...

С болезненной отчетливостью представил он себе дом Пудова, с толстозадыми свиньями-амбарами, увидал себя за столом у Михайла—его угощали лопнувшими от сдобы пирожками, понесло волнючим теплом и уютом от квартиры Алексея с мягкой мебелью. — «Чужое взял,—припомнил он,—в нардоме комсомольцы плачут—посидеть не на чем... Отберу! Завтра же отберу!... Растормошу я вас, дорогие товарищи, лень соскоблю, жиру поубавлю. Дайте срок!»

В эту минуту он невольно почувствовал гордость за себя, за свою чистоту, за смелую ломку собственной жизни. Вот он, каменной глыбой свалился и встал наперекор всему! Пусть горячими пирогами, мягкими диванами, добротными избами плещет засосливый человеческий омут,—ему не страшно, он выше всего этого, он познал простой и прекрасный смысл бытия и верит в него, как в бога...

«Дай-ка я скажу!»..

Алексей швырнул под стул газету и поднялся. Его вывели из терпения многозначительные прищуры соседей. Он понял—от него ждут защиты взглядов, которые он проповедывал на партсобрании. Ему было неудобно промолчать и тем самым сознаться в своей ошибке. Люди могли не понять, могли расценить молчание, как испуг, как отступление. А этого не было, потому что вот как обстояло дело в действительности.

Разругавшись с Кашиным по порядку ведения собрания, он вышел на улицу, успокаивая себя, что в ссоре виноват один Кашин, а он, Алексей, прав, демонстративным уходом подчеркнув узурпаторство зарвавшегося человека.

Разгуливая перед домом крестьянина он ждал—вот, вот, прихрамывая, Кашин выбежит на улицу и будет просить прощения. Но проходили тягучие минуты, он прозяб, а Кашин не выбегал и собрание не прерывалось, в монотонном гуле, ползущем из открытой форточки, дышало спокойствие и порядок. И тогда, сомневаясь в своей правоте, Алексей стал припоминать ссору и она представилась в таком нелепом освещении, такими смешными были его поступки, что он ужаснулся. Повернул обратно, давая в раскаянии слово немедленно исправить промах, решительно поддержав во всем Кашина.

Так вероятно и было-бы, если бы Кашин сам не испортил примирения. В перерыв он отвел Алексея в сени, противно кашляя и глядя в сторону, показал новое постановление укома, только что привезенное Диуновым. Уком подтверждал свое прежнее решение.

— Они оставляют тебя здесь, но мы тебя отпустим,—сказал Кашин, снисходительно улыбаясь и закусывая бороду. — Я понимаю... Ты должен уехать.

— Подачка?!—вспылил Алексей, ненавидя обмусоленную бороду. —Я подачек не хочу. Я...—Он хотел сказать—«Я перенесу все, я добьюсь переброски без вашей помощи»,—а сказал:

— Я остаюсь.

Антон посмотрел на него со скукой, пожал плечами.

— Как хочешь...

«Враги, мы враги!—решил Николаев. — Он первый лезет в драку. Ну, что же, будем драться.» —И он выступил против плана Кашина. Это было необдуманное, ничем не оправдываемое, мальчишеское выступление. Он раскаялся на другой же день. Может быть, в раскаянии не малую роль сыграло и то обстоятельство, что Кашин продолжал оставаться на его квартире, ни одним движением не показывая своего нерасположения, напротив, по мелочам, с мужской неловкостью, дарил нежность, ухаживал. Алексей решил не вступать в пререкания по поводу картошки. И сладко помечтал—Кашин наверняка вновь предложит свою помощь в переброске и он, Алексей, теперь уж не откажется от этой помощи.

Он совершенно не думал выступать на пленуме. Он взял слово лишь после того, как почувствовал, что все ждут его и не взять слова—значило бы смалодушничать. Он не хотел давать новой пищи для сплетень и издевательств, решил—не будет большим преступлением, если легонько возразит Кашину. Самое маленькое, ничтожное возражение для отвода глаз. Кашин легко разобьет его, пусть, Алексею больше ничего и не надо. Но даже подлецы не посмеют после этого обвинять его в трусости и непостоянстве. А с Кашиным они потом, наедине, сговорятся.

«Он поймет меня, он хороший парень! Ведь друзья же мы с ним, в конце-концов!».

Повеселев, Алексей поднял лучистые глаза и обласкал старенькую, такую приятную гимнастерку, обласкал всю неуклюжую фигуру Кашина. Даже бороде, которая совсем недавно наводила отвращение, он подобрал доброе сравнение: «Соломянная! И весь он соломянный... наш, аржаной!. Хороший, хороший!»

— Я считаю, что во всем этом деле есть некоторая поспешность,—сказал Алексей и тотчас подумал, что слишком неопределенно звучит начало. Он поправился:—То-есть, я хочу сказать,—есть явная поспешность. Принципиально, как говорил Замков, конечно, правильно. Какой-то уклон наше сельское хозяйство, значит, должно иметь. Но вот вопрос: какой? Картофелеводство или животноводство, или, может-быть, развитие огородных культур?.. То. что у нас мужики стали картошку садить, это еще, товарищи, не доказательство. В годы голода жрать нечего было. И мне кажется, в связи с этим, здесь есть некоторая неясность.

— Все ясно!—подал реплику Кашин. — Не ясно только слепым.

«Это он меня называет слепым... Ну, что за сволочной человек!»—обиделся Николаев, и ему стало грустно. — В числе которых находится и товарищ Кашин,—сорвалось у него и само собой продолжилось: — Я утверждаю,—сам Кашин не знает—прав он или не прав, выбирая картошку. С таким же успехом он завтра, значит, выберет... морковь, лук. Репчатый лук!—захохотал Алексей, чувствуя, что ему смеяться больно, а смеяться хочется. — Лу-ко-ви-ца!—крикнул он, кривляясь и гримасничая. У него было смешное ощущение, точно он скачет на одной ноге и, высунув язык, дразнит кого-то.

И уж не легонько, а всерьез, с правотой в себя, в свое выступление, жмет он Кашина, гневными доводами уничтожая сперва отдельные части, а потом и весь план.

Кто-то крикнул ему.—Партиец ты, или нет? Забыл?!!

Это было справедливое, хотя и позднее предупреждение. Алексей подумал, что действительно он нарушает партдисциплину, так как есть решение собрания и ему надо подчиняться, тем более, что ведь это—пленум вика, где добрая половина беспартийных. Но, осознавая свое преступление, он почему-то решил, что это не важно, а важнее то, что он говорит, что предполагает сказать.

— Ерундистикой занимаешься, Николаев!—громыхнул прежний голос, и он догадался, что это Михайло. А может-быть и не Михайло, потому что голос потерял мерный гул.—Как Бородулин, — выхрипел человек какое-то оскорбление, не понятое Алексеем, но все же уколовшее.

— Вот еще нашлась луковица!—захохотал он, прищуриваясь и ничего не видя. — Две луковицы! Пара луковиц!

— Дурак!—совершенно отчетливо прогудел голос.

— Не мешай ему, Михайло! Видишь распоясался человек!—насмешливо крикнул Кашин, жуя клок бороды.

«Теперь уж он не поможет мне уехать отсюда»,—мелькнуло у Алексея, и опять он легко расстался с этой, когда-то решающей мыслью, и продолжал позорную речь.

И ему вдруг стало ясно, что не личные счеты заставляют его выступать против Кашина, а что-то другое, мешающее им итти одной дорогой. И это его почему-то обрадовало.

## VIII.

Партийная часть пленума приняла Алексея, что называется, в штыки. И Михайло Петров, и Замков, даже Пудов, явно не одобрявший план Кашина, теперь выступили в защиту, преодолевая неловкость и сомнения, потому что Алексей, нарушив партдисциплину, бросил обвинение всей организации, а следовательно,—каждому из них. Они защищали Кашина уже не как чело-

века, а как секретаря волкома, олицетворяющего партийный коллектив. Вдруг осозналось—прав или не прав Кашин—об этом нужно было говорить на собрании, а раз собрание большинством одобрило его предложения и, стало-быть, нашло их правильными—остается подчиниться и защищать, даже, может-быть, немножко, все-таки, ошибочную поспешность. Их бесило неуместное выступление Николаева, так легко и бесцельно нарушившего спайку коллектива, да еще при беспартийных, и они, не стесняясь в выражениях, оспаривали его доводы.

Председатели сельсоветов ничего не имели против плана, как такового, если бы выполнение его ложилось на других, например, на партийную ячейку или кооперацию. Но план камнем обрушивался на их голову. Они считали,—как бы не говорили комитетчики, что на это дело будут брошены все партийные и общественные силы волости, председатели сельсоветов знали на горьком опыте поошлых кампаний, таких же важных, с такими же обещаниями,—валандаться с мужиками придется им, а они, председатели сельсоветов, считали, что валандаются и так достаточно, даже чересчур достаточно. И они густо поддержали Николаева.

Некоторые из них, в усердии, доводили до абсурда мысли Алексея, он это подмечал, негодовал, но возразить уже не мог, запутанный собственными противоречиями. Уткнувшись в газету, он разглядывал буквы, слагал из них несуществующие слова и каялся.

«Влип... Они мелют всякую чепуху и сваливают на меня. Вот влип!.. Да я ж не это хотел сказать, совсем, совсем не это!»

У него появилось и росло желание уйти с пленума, пообедать и завалиться спать, ни о чем не думая, как будто ничего не случилось. И такой заманчивой вдруг стала его тихая комната с покойной мягкой мебелью и доброй старухой, которая, наверное, беспокоится за переварившийся обед, что он еле сдержал это желание, мучил глаза газетой, чувствуя, как разваливается все его длинное тело: отваливаются ноги, руки, не держится голова, и вот, вот—согнется тонкое туловище, закачается и шлепнется на пол.

Кто-то, задевая его ноги, прошел мимо, противно скрипя сапожищами. Он оторвался от газеты и долго разглядывал крутую спину, форсисто затянутую черной кожей. «Хорошо бы пойти,—подумал он,—пообедать и... поспать».

Слова попросил низкорослый, большеротый, с гнилыми зубами, крестьянин. Он не был членом волисполкома, но хотел сказать что-то, по его мнению, исключительно важное. Замков с неохотой разрешил.

— Вот спорите тут: мы, да мы... Ну, что мы? Мы-то живем, да хлеб жуем, а вот скажи: кто всему этому причина?—сердито закричал он, обнажая гнилушки зубов. И по этим желтым, поломанным зубам, по надсадному крику Антон узнал плотника-

Мизгиря, панинского горлопана. Как прежде, был он маленький, толстый и сердитый.

— Тут кампания... картошка, лен, турнепсы разные. Подумаешь, какие богачи сыскались!—кричал Мизгирь, подозрительно косясь на Замкова. — А где сеять-то будете, богачи голоштанные?!!

— Ты это о чем?—грубо оборвал Замков. — О чем орешь?

— О тебе!—огрызнулся Мизгирь, царапая пальцами жирные, пушистые, как у бабы, щеки.—Добраться до вас—силы, о-го-го! Думашь, так пройдет, думашь, попу есть, а нам кукишь с маслом? Думашь, мы-то...

— Да ты про что-о? сорвал очки Замков, привскакивая.

— Про землю, вот про что!

— Это не по существу!—скороговоркой сказал Замков.

— А-а!—вовсе рассердился Мизгирь, притоптывая короткими, кривыми ногами. — Это тебе не существо? Это тебе чихать-плевать и все такое?! Про ривалюцию бреши, а свойских дел не касайся? Пустобрехи, да?!!

— Брось...—отмахнулся Замков, устало обтирая платком лысину.

— Слыхивали мы от тебя. Только... контр-революцию и подпускаешь.

— Во! Елемент, елемент, так и говори! Нельзя нам... Ясно!

Мизгирь матюгнулся и сплюнул.—Не надобно мне вашего слова. Ладно!

— Да нет, говори, говори, пожалуйста!—ввязался Кашин, тревожно оглядывая Замкова. Что-то странное показалось ему во всей этой перепалке. —Не мешайте ему...

— Разве я мешаю?!—громко захохотал Замков. —Ну, говори... выкладывай.

— Не надобно... ладно... Не надобно! —бормотал Мизгирь, грузно переваливаясь к двери. — Не на-а-до-бно!—прокричал он не своим, басистым, голосом, хватаясь за скобу.—Вот!—и он хлопнул дверью.

— Что же это, товарищи, беспартийному рот затыкаете?— осторожно сказал бородатый, чернявый председьсовета. — Разве так можно? Ведь обиделся человек!—с огорчением потряс он бородой.

— Правельно! Обиделся... Разве можно!—поддержали беспартийные председатели.

— К порядку!—застучал озлившийся Замков. — Кому рот затыкают? Что за чушь?.. Пожалуйста, берите слово, кто желает высказываться. Ну, кто?..

«Работнички... собранием руководить не могут,—торжествовал Алексей, лениво раскуривая мятую папиросу.—Сами себе ножку подставляют... Знаю я Мизгиря, теперь он на всю волость раззвонит, подлец! А я бы не так... Я б под'ехал, что он и пикнуть не смел... Ну, что теперь будете делать, провалились?»

Действительно, ошибка Замкова (ее понял каждый партиец и дивился: как обычно уравновешенный и осторожный Замков попал впросак) испортила все дело.

В прениях больше никто выступать не хотел, надо было голосовать, так как агроном вдруг отказался от заключительного слова. Голосовать же не имело смысла—план заранее обрекался на неудачу. В тяжелом молчании дымил махоркой пленум...

И тогда стремительно вышел из своего угла Опарин. Размахивая записной книжкой, Иван Александрович обрушился на пленум. Оскалив клыки и низко пригнув голову, в распахнувшейся шубе (рыжеватая волчья шерсть роскошной каймой облегла пиджак и ослепительно-белый, отложной воротник рубахи с цветистым вязаным галстухом), Опарин был особенно внушителен. И голос его, не громкий и не тихий, тот средний голос человека, знающего себе цену, был подстать фигуре строгой в своей правоте и беспристрасности.

Иван Александрович прямо заявил, что председатель исполкома, товарищ Замков, Егор Павлович, допустил грубую ошибку, не дав говорить Мизгирю. С подчеркнутой медлительностью, неоднократно Опарин повторил это, напоминая, что Мизгирь, в общем-то, конечно, скверный человек, но его нужно было выслушать, чтобы не дать повода мутить крестьян контрреволюционными разговорчиками.

Дружно поддержали Опарина беспартийные члены исполкома, радуясь и гордясь, что вот нашелся же среди них смелый и справедливый человек, не побоявшийся сказать в глаза правду-матку.

Но радовались они преждевременно. Покончив с Замковым, Иван Александрович принялся и за них. Он не поскупился на самые ядовитые уничтожающие слова, доказав, как дважды два четыре, что председатели сельсоветов пользуются ошибкой Замкова с корыстной целью—сорвать ответственнейшее дело; ловко разоблачил их нежелание согласиться с предлагаемым планом не потому, что план им не нравиться, а лишь из-за того, что его придется «проводить»,—работать, работать, и работать, а вот это-то им и не по душе. Самые убийственные пословицы и поговорки пустил в ход Опарин, и председатели сельсоветов не знали—смеяться им или сердиться.

Смело взялся Опарин за толкование плана, предложенного агрономом и Кашиным. Прежде всего он процитировал тезисы речи Сталина на московской партконференции—об основах нынешней политики партии в отношении крестьянства. Перечисляя союзников пролетариата—заграничный рабочий класс, угнетенные народы колоний, противоречия между капиталистическими странами и, наконец, крестьянство, он подробно остановился на последнем, дословно передав вычитанные из газеты слова Сталина о смычке, о лозунге «лицом к деревне». Толково, почти не ошибаясь в терминах, вспомнил, что говорил Ленин о крестьянстве

и кооперации и подвел свою речь к тому, что выходило: и Сталин и Ленин голосуют за картофельный план.

Это была мудрая и в то же время простая, спокойная и наполненная до краев молодым нетерпением, чудесная речь передового крестьянина. Самому Ивану Александровичу приятно было ее слушать. Он говорил и сам следил за своими словами и сам удивлялся, как складно, красиво и верно у него получается. И в эти минуты, затопив скучную, серую, дымную комнату морем света, тепла и радостного весенне-голубого неба, Иван Александрович забыл все свои земные, скверненькие расчеты. Совершенно искренне, растроганный собственной добротой и честностью, ратовал он за план, за людей его создавших, за людей таких же, как он, сильных и смелых.

Нечего и говорить, что когда пришло время голосования, только немногие воздержались, и само собой разумеется—первый поднял руку Иван Александрович, поглаживая мятый обшлаг синей шубы. Он пожалел молчаливого, уткнувшегося в газету товарища Николаева.

## IX.

С нехорошим чувством расходились люди с пленума. В конце-концов не принесла облегчения блестящая речь Опарина. Даже почти дружное голосование не подарило радости тем, кто этого желал. Чего-то не хватало. Точно что-то неприятное проглотили люди и морщились, ощущая физическую и душевную темноту. Если бы люди покорно не отдались этому серому, скользкому чувству неудовлетворенности, если бы попытались осмыслить это чувство, то они с удивлением заметили бы, что на дне неудовлетворенности, как в квашне опара, пухнет и бродит старенькая жалость, это вот-де все и кончено, уж больше не поспоришь, надо делать.

В самом любимом деле есть такая грань, когда дело еще не начато, но уже бесповоротно решено, и грустно, что нельзя прикидывать до бесконечности в уме и так и этак; сейчас вот именно на этой грани и находились люди. Завтра они уже оставят далеко позади эту грань, завтра они руками, зубами, всем своим существом вростут в дело, прибавят его к десятку, сотне других неотложных дел и в кипучем водовороте труда найдут и радость и счастье. Будут песни, будет ругань—и отчаяние, быть-может, будет, но и опять будут песни,—будет «конец—делу венец», и во имя этого «конца-венца», пожалуй, простительна серая, мутящая человека неудовлетворенность.

Алексей, разминая затекшие ноги, нагнал в коридоре Волженорганизатора—Ирину Ракитскую и, не здороваясь, прихватил на талии кожаный хлястик.

— К тебе, Ира, хочется. Приду... ладно?

— Нет, не ладно,—сказала Ирина густым мужским голосом и освободила хлястик.

— Почему?

— Потому что потому, что кончается на у...

— Не глупи, Ирина, я хочу к тебе сегодня,—как можно ласковее сказал Алексей, заглядывая в строгие глаза.

— А я не хочу!—уклонилась от локтя Ирина.

— Может, ты... другого пригласила?—хотел с'ехидничать он, но почувствовал, что ехидства не получилось,—одна неприкрытая злость и оскорбленное мужское достоинство.

— А хотя бы и так?—небрежно отозвалась Ракитская своим вторым настоящим голосом. И эта небрежность, подчеркнутая презрительно-гордым взлетом стриженных волос, совсем разобидели Николаева.

— Слушай, но ведь я...—начал он и, не зная как продолжить фразу, замолчал, разглядывая затянутые льдом половницы коридора, освещенное крыльцо, по ступенькам которого осторожно спускались, оживленно разговаривая, Кашин и Опарин. Алексей взглянул на Ирину и заметил, что она пристально следит за крыльцом. «Ах, вот как!»—подумал он, еще больше оскорбляясь слежкой и той скверной мыслью, которая вдруг пришла ему в голову. Он наклонился к Ирине и с удовольствием отмечая морщины и желтые зубы, шепнул, толкая ее.

— Может, ты, значит... Уж не его ли?

— Поди ты к черту, Николаев! Отвяжись!—закричала по-мужски Ракитская, торопливо идя вперед.

Он отстал и видел, как Ирина поравнявшись с Кашиным, терпеливо и бестыдно ждала, пока он прощался.

Ирина сказала что-то Кашину, и они пошли вместе по Торговой улице вниз, к реке.

Собиралась метель. Крыши изб дымили снегом.

...В эту ночь Кашин не ночевал у Алексея.

---

*Л. РАТНОВСКИЙ.*

# ПАРИЖ.

ПОЭМА.

Блокада плотнее и ближе,
Версаль пристает, как парша...
Горячие камни Парижа
Борьбой и шпионством кишат.
Всю ночь, как гигантское знамя,
Законней обычной зари,
Голодное плавает пламя
Над пышным дворцом Тюльери.
Могилы растерянность роет...
Но ночь, превращенная в ад,
Рождает без счета героев,
Заливших Париж баррикад...
Опасность и смерть им презренны,
Их долг—умереть на войне...
Пусть даже родимая Сена
Жиреет от крови вдвойне—
Гвардейская гордость... мундира
Не сменит на штатский жакет!
И падают пасынки мира
У мрачных застенков Рокет...

***

Могилы растерянность роет,
И залпы страшны для ушей,
А ночь, порождая героев,
Меж ними рождает... мышей...
Кренясь от ранения боли,
Растратив и пыл и свинец,
На улице темной Риволи
В окошко стучался беглец.
Ему отворяет консьержка:
—Мосье!—
Отшатнулась.
Бледна.
Но он умоляет:—Поддержки!
Соврите, что вы мне—жена...
В ответ колебанья:—Но... право...—
И пальцы сжимают засов..
Мерещится Тьера расправа
И жаль белокурых усов...
—Мосье!—
Но мгновенная жалость
Бросает ее от дверей:
—Как платье на вас истрепалось!...
Идут! Заходите скорей...

***

В предместьях, что ночь,—то облава,
А чуть только день заблестел,
Кровавою тьеровой славой
Смердит от неубранных тел...
Пурье, наш знакомый с Риволи,
Был схвачен однажды... Но он
Сознание, чувства и волю
Склонил у трехцветных знамен.
—У этих „питомцев Бастилии"
Я был,—заявил он,—в плену!—
И власти, конечно, простили
Собрату по крови вину...
В нем барская наглость воскресла
И, как адвокату в былом,
Пурье даже мягкое кресло
Нашлось за судейским столом...
Однажды—тогда донимали
Июньские знойные дни—
Под свежие своды пригнали
Толпу столяров Сен-Дени.
И старцам и юношам кротким
—Ведь может остынуть обед!—
Допрос был цинично-коротким,
Свирепым, как радость побед:
—Ты кто?—Я Трувет... Не узнали?!
Я, помните, вам передал...—
Молчанье насупилось в зале,
Грозит прокурору скандал.
Пурье стал малиновей меди,
Язык ему бешенство жжет:
—Создатель! В уме-ль ты? Он бредит!
Ах, падаль! Да он еще лжет!
И мы их кормили, проклятых!
Как хлеб только в горло им лез!
—Да, сударь, кормили... с лопаты...
Гранатами... из митральез!..
—Сержант!.. Уберите урода,
И часу не должен он жить!
—Я рад для простого народа
Две жизни, предатель, сложить...
Пусть я и умру за коммуну,
Другие поднимут прибой...
Ведите!—И старых и юных
Из зала уводит конвой.

*Иваново-Вознесенск.*

*АВ. НОЗДРИН.*

# С УВОДИ НА ТАЛКУ.

(ГЛАВА ИЗ ПОЭМЫ „ГОРА").

Владельцы фабрик—палачи,
Их слуги—им подмога,
Теснят—терпи, дерут—молчи,
Умри—одна дорога!
(Из песни восстания силезских ткачей).

Здесь были свои со своими,
Что жили на равном тягле...
В одном мы коптилися дыме,
В одном мы варились котле.

И были мы тверды в бунтарстве,
И твердо мы знали о том,
Как борются в ситцевом царстве
И кто в этом царстве царем.

Узнали, как после ристалищ,
Казацких набегов, плетей,
По-новому слово „товарищ"
Запело святого святей.

Мы вышли, ушли из-под пресса,
На что не глядели б глаза.
Мы видели сказочность леса
Из рук голосующих—„за"...

За мысль, что не знает свободы,
А знает лишь тюрем окно,
За то, чтобы были народы
Все вместе и все заодно.

Забыта мещанская рухлядь,—
Она уходила в былье.
Мы прокляли старую Уводь,
На Талку сменяли ее.

И наши слова доходили
До чуткого уха, до глаз,
До ран застарелой обиды
Широких обиженных масс.

И падало все это севом
На почву, что взрыта была
Отчаяньем, голодом, гневом
И вечным бесправьем тягла.

На улице имени графа
Восстанье, война нищеты,
Валили столбы телеграфа,
Из проволок ткали щиты.

Как строить борьбу, баррикады
Учился наш ткачи,
Не знать сожалений, пощады
К тому, что творят богачи.

У фабрик росли бивуаки,
С вокзала тянулся наш брат,
За сотнею сотня—казаки,
За ротою рота—солдат.

Но братья в шинелях брататься
Не думали с нами тогда,
Пришлося в штыки упираться
Защитникам воли, труда.

Зато мы не знали в Совете
Ни трений, ни распрей, ни склок,
Но знали, что голодны дети,
Что осени день не далек.

Что время о зимних невзгодах
Подумать, поглубже взглянуть,
Что будет потом на заводах,
Каким будет фабрики путь.

Не дрогнули мы пред укором,
Когда прогудели гудки,
Широкой волною, напором
В атаку пошли все станки.

Клялись, что себя по-хозяйски
Мы будем вести в корпусах,
Не будем, как раньше, по-рабски,
Толкаться в конторских дверях.

На мир, на уступки, на сделки
Не шли и вперед не пойдем.
Мы были в большой переделке
И вышли оттуда живьем.

*Иваново-Вознесенск.*

*Л. ФЕДДЕР.*

## И ДРОГНЕТ ПО МИРУ СВИНЦОВЫЙ ТОК.

В вагонную ночь
Заползает ночник,
Проверить билеты
Идет проводник.
Но вот с полустанка,
Как птичий грай:
—„Известия",
„Правда",
„Рабочий Край"!
Листы оседают
На полки, на ноги...
—Хорошее дело
При длинной дороге!
От глаз отгоняя
Подушечный бред,
Над первой страницей
Склонился сосед.
Он вынул блок-нот
И чертит в тишине,
Но вот, обернувшись,
Бросает мне:
—Какое значенье
Для нас Китай?
Торчит гаолян,
А кругом пустота...
И если уж надо
Рабочую месть—
Германия, Англия,
Франция есть!
Оттуда машины,
А хлеб от нас,
И сразу в квадрат
Возведется страна-с!..
Ведь это же выгода
В каждый час...
На Запад, на Запад
Мечите глаз!

***

И снова прошел
Мимо нас проводник,
Задул осторожно
Коптящий ночник.
И дальше ушел.
Где под лязг буферов
Идет перекличка
Дорожных ветров.
В открытые окна
Вливался восток.
И стыл за составом
Далекий свисток.
И тут я увидел:
Горит гаолян,
И головы никнут
Китайских крестьян...
Так жирно скользя,
Так боясь опоздать:
Среди гаолянов
Бронепоезда.
Китайские кули
В вагонах сидят—
И бьют офицеры
Китайских солдат.
Но ветер и кровь
Обмывают росу.
Шестьсот миллионов
Свой меч понесут.
Шестьсот миллионов
Рабочую месть,—
Где есть офицеры,
Банкиры есть!

---

И дрогнет по миру
Свинцовый ток
На запад,
На север,
На юг,
На восток!

---

*А. ВАРФОЛОМЕЕВА.*

## ТУРКСИБ.

Допустим, что все это выглядит так:
Кружочек на карте—Айна-Булак.
Зеленое море—глухие леса
И море из охры—песков полоса.
И только двугорбые корабли
Пустыни пески одолеть могли.
Качались они, и качался их след
И десять, и сто, и тысячу лет.
И бережно плыл на остром горбу
Тончайший и нежный хлопковый пух,
Чтоб после на звонкоголосых станках
Вилась и шуршала готовая ткань.
Допустим, что все это выглядит так:
Верблюды, сыпучее солнце песка.
И, может, есть советский Майн-Рид,
Который использует этот вид.

Теперь начинается самый рассказ
О силе, сковавшей громаду песка;
О силе, которой досталась честь
Нести пятилетке и хлопок и лес.
На стройке великой был отдан приказ—
Прорваться сквозь степи и горы песка,
Чтоб тесно связала стальная змея
Хлопковый простор и лесные края.

В степях, в глухомани кипела борьба.
Весь мир говорил о верблюжьих горбах.
Свистела пустыня:—песков не отдам!
Становья шептали:—шайтан арба!
Но воля строителей—воля побед.
И там, где верблюжий засыпан след,
Стальные и звонкие рельсы легли
На грудь казакстанской земли.
И перый лишь только промчал паровоз,
Приветствуя степи чечеткой колес,
Монгольские лица улыбкой зажглись:
Пришла она—Новая жизнь.

---

# ЖАДНОСТЬ.

КОМЕДИЯ В ТРЕХ АКТАХ.

---

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Старик Темнов, первый богач в деревне.
Марфа, вторая жена Темнова.
Наталья, Василий, Надька — дети Темнова от первой жены.
Андрей Славнухин, кулак.
Матвей Лапочкин, подкулачник.
Отец Паисий, деревенский поп.
Николай Стукалов, председатель сельсовета.
Анна, мать Стукалова.
Петруха Ширяев, Сенька Туричев, Андрюшка Быстров — активисты.
Алексей Ступин, крестьянин-середняк.
Макар Загвозкин, самоучка-изобретатель.
Сашка Гага, охотник-бобыль.
Милиционер.
Комсомольцы.

Действие в деревне в наши дни.

---

# АКТ ПЕРВЫЙ.

Передняя комната в доме Темнова. За окнами глухая ночь. Лампадка перед иконами слабо освещает комнату. На печке, завернувшись в одеяло, спит Надька. Марфа и Василий скользят бесшумными тенями по комнате, таская из боковушки на двор различные узлы и свертки. Старик Темнов понуро сидит за столом.

МАРФА

[подходит]. Отец Паисий там...

ТЕМНОВ.

Так что ж ты, бревно,— почему не впустишь?

МАРФА.

А я думала...

ТЕМНОВ

[сердито обрывая]. То-то ты думаешь все, колода деревянная! А соображенья-то и нет... Кажись, волк с медведем— недальние суседи,—можно бы не опасаться... [Смотрит на узлы]. А это что навила?

МАРФА

[прячет узлы за спиной]. Видишь, мануфактура.

ТЕМНОВ.

А в другом-то?.. Деньги захрапала? [Выхватывает сверток]. Сказывал, сам зарою!

МАРФА.

Ой, да что уж это, господи!.. Своим не верит! Что я заглочу твои деньги?

ТЕМНОВ.

Поди, говорю, отопри попу-то!

МАРФА

[сердито огрызаясь]. А ты не шумел бы, букан! Разбудишь Надьку-то! [Уходит].

ТЕМНОВ.

Вот окуему пришибло к нашему берегу!.. Только и смотри за ними! [Прячет деньги в стол].

НАДЬКА

[вылезая из-под одеяла]. Тять, а тять! Что это мамка-то с Васильем таскают?.. Чего-нибудь прячут опять?

ТЕМНОВ.

А тебе что, паршивица?.. Все надо знать... У стерва пучеглазая! Брысь, говорю, под одъяло! Запорю!

НАДЬКА.

Ой, тятя, не бей! Миленький, сплю! [Зарывается в одеяло. Входит Паисий].

ПАИСИЙ.

Мир дому сему!

ТЕМНОВ

[подходит под благословенье]. Какое, отче!.. Не больно-то мирно живем! Совсем замотался... озверел.

ПАИСИЙ.

Тяжелые времена, Иван Акимыч!

ТЕМНОВ.

Да уж на что хуже! Свое добро хоронить приходится. [Подвигает Паисию стул]. Ну, что в газетах-то пишут?

ПАИСИЙ.

Мало хорошего! Везде колхозы пошли... Читаешь иной раз—и прямо глазам не веришь! Что сталось с народом православным? Точно полой водою взмыло избяную Русь. А всему виной наука проклятая да техника! Насмотрелись, какая польза от машин—и понеслась... Да ведь как?!. Буря! Шторм! Не то, чтобы отдельными селами, а целыми районами, округами—и церкви божии стали ненужны.

ТЕМНОВ.

Ох, уж эти колхозы мне! Колом в самое сердце... Ведь это что же выходит?.. Совсем разор!

ПАИСИЙ.

Будем уповать на милость всевышнего! На все его святая воля!

ТЕМНОВ

[сердито огрызаясь]. Ну, бог-то—бог, да и сам не будь плох.

ПАИСИЙ.

А что слышно у вас?

ТЕМНОВ.

Петля, отче! По всем видимостям не миновать колхозу и нам. Давеча Лапочкин забегал... Он вертится около сельсоветчиков-то. Кажись, говорит, дело к тому идет. Да вот он сам расскажет... Сегодня собраньишко у нас. Я потому и послал за тобой в такое время. Днем-то, сам знаешь, нельзя... Нашему Тишке только ночь и покрышка. [На дворе раздается негромкий стук].

ВАСИЛИЙ

[в испуге роняя сверток]. Ой!

ТЕМНОВ.

Ну, чего ты, чурбан?..

ВАСИЛИЙ.

Никак, *те*, папашка...

ТЕМНОВ.

Дурак ты, дурак! Небось, *те* не так бы застучали... Поди, отопри! Это Славнухин, наверно.

ВАСИЛИЙ

[лукаво ухмыляясь]. Рассказывай, Папашка! Ты думаешь, я не знаю? У Васюхи-то, брат, хитрости с три лешева!

ТЕМНОВ.

Ну, вот и поговори с этим пнем! Отопри, говорю, дубина стоеросовая!

ВАСИЛИЙ.

А ты не серчай, папашка! Сейчас пропущу. [Убегает].

ТЕМНОВ.

О господи! И за что ты меня наказал? Один сын остался—и тот идиет! [Проходящей Марфе]. Вы кончайте-ка это дело... да уходите спать! У нас тут сурьезный разговор будет.

МАРФА

[сердито швыряя сверток]. А мне что?!. Хоть все пропади у вас пропадом! [Уходит].

ТЕМНОВ.

Вот лешева кукомяка! [На дворе раздаются голоса].

НАДЬКА

[вытягивает голову из-под одеяла]. Тять, а тять! мне страшно!..

ТЕМНОВ

[бросается к печке]. Да что это на тебя уйму-то нет? Убью поганку сопливую!

НАДЬКА.

Ой, сплю, сплю!.. [Ныряет в одеяло].

ПАИСИЙ.

Гневен ты стал, Иван Акимыч!

ТЕМНОВ.

Огневаешься тут! Ведь за добро свое стою! Всю жисть положил... все... И опоры вокруг не вижу... Свое дите боюсь... У-у-у!.. [Входят Славнухин и Лапочкин].

СЛАВНУХИН

[крестится на иконы]. Не опоздали?

ТЕМНОВ.

В самый раз подошли. Проходите к столу да рассказывайте, с какими вестями.

СЛАВНУХИН.

Дела—никуда, голова! Да вот Лапочкин расскажет. [Садятся].

ЛАПОЧКИН

[важно развалясь]. Ой, не знаю как и быть, Иван Акимыч! Совсем разор мне!..Ну, посуди сам! Ведь две коровы у меня... Мерин такой добрый—полтораста целковых давали лонись... Опять же телушка... овцы... Этакое хозяйство, можно сказать! А теперь вот отдавай-ка все задарма!

ТЕМНОВ.

Да что ты ко мне со своим хозяйством?.. Выискался тоже богач—две ко-о-ровы!.. Тьфу! Ты мне о деле докладай!—Как насчет колхозу порешили.

ЛАПОЧКИН.

А плохо, Иван Акимыч! Давеча я в сельсовет забегал... Вопрос, видать, решеный. А насчет хозяйства—оно, конешно, с твоим али славнухинским не сравнишь. Ну, а ежели против других, протчих—хозяйство первеющее, можно сказать. Ко мне вон и богачи из волости приворачивают. Уж на что Карпунич—первым считается—и тот намеднись заезжал.

ТЕМНОВ

[не слушая Лапочкина]. Конец, значит!.. Подходит и к нам... А все Стукалов... Он взмутил всех... Из-за него поднялась

баламуть... И откуда такую силу взял?.. Давно ли, кажись, в работниках жил у меня. Ломал, как и все,—тягло безголовое—четвертак дюжина... А теперь—на, поди—первый верховод, всеми делами заправляет.

СЛАВНУХИН.

А это он в Красной армии, голова!.. Там обточили его... Такое понятие возымел—прямо на удивленье.

ПАИСИЙ.

Ужасный человек! В воскресенье я проповедь надумал сказать. Начал издалека — о царстве божием... А потом осторожненько перевел и на суетные помыслы человеческие о царстве земном. Обстругал очень гладко. Думаю: ну!—ни с какой стороны ухватиться нельзя! И что же?!. На другой же день вызывает меня в сельсовет.—„Ты, говорит, поп, контрреволюционную агитацию ведешь".—„Помилуйте, отвечаю, да я от политики, как заяц от выстрела,—на три версты без-оглядки... А если вы насчет вчерашней проповеди—так что ж в этом?—Проповедь самая обыкновенная".—„А ты, говорит, поп, аллилуйю мне не закручивай! Я не против того, что ты проповедь... Мы свободу религии не стесняем. Шпарь сколько влезет, что дева Мария родила от духа свята. И о том, что Христос превращал воду в вино, дуй в хвост и гриву, если остались еще дураки, которые верят этим сказкам. А зачем ты, поп, колхозы приплел? Ведь это, как-будто, к религии не относится. Смотри, говорит, у меня! За этакие дела мы тебя и в Соловки можем".—Вы понимаете?!. Выкатился я от него—чувствую: вся лицевая карточка моя злыми багровыми пятнами пошла, точно крапивой отхлестали.

ТЕМНОВ

[мрачно]. Погубит он нас!

ПАИСИЙ.

А нельзя ли убрать его?

ТЕМНОВ.

Это как же, убрать?.. Я чего-то не пойму тебя, отче. Ведь не горшок, кажись,—не нужен—и выставил,—живой человек...

ПАИСИЙ.

А-а-а так... чтобы не вредил...

ТЕМНОВ.

Да ты не виляй! Говори прямо—убить что ли?

ПАИСИЙ

[ерзая на стуле]. Ну, убивать-то грех, конечно... А-а-а как-нибудь... этак...

ТЕМНОВ

[не слушая Паисия]. Эх, кабы прежняя сила!.. Нисколько и не задумался бы... Подстерег бы где-нибудь за углом... давнул ненавистника—только мокренько бы стало... А теперь где уж?.. Отплясал, видно, конь свое время—придавило годов беремя.

СЛАВНУХИН.

Ну, все же и боязно, голова! За этакие-то дела нас тоже в красный угол не садят. Могут и каленым орешком в лоб.

ЛАПОЧКИН.

А зачем самим?.. При ваших-то капиталах — ежели, скажем, полсотни не пожалеть — найдется сколь угодно людей...

СЛАВНУХИН.

Думал я сам, голова! Да где их скоро-то подыщешь таких? Ведь не теленка зарезать... не петуху голову отрубить... [Вдали раздается глухой выстрел]. Ой, чтобы это значило?..

ЛАПОЧКИН.

А это Сашка Гага, наверно! У него, разбойника, такая уж привычка: как станет подходить к деревне—обязательно выстрелит. Уж такой, каторжная душа!.. [Вскакивает]. Да вот вам!.. На что подходящее человек...

СЛАВНУХИН.

А верно, голова! У этого рука не дрогнет. Ведь он еще в прежнее время зарезал скольких... На каторге был. Ладно в революцию освободили. А то бы и теперь сидел.

ЛАПОЧКИН.

Уж на что лучше? И нуждается как раз... Баба-то его по всей деревне бегала сегодня... краюшку занимала... Самый подходящий человек! Дозвольте, я выбегу—кликну.

ТЕМНОВ

[смотрит на Паисия]. Ну, как ты думаешь, отче?

ПАИСИЙ.

Да ведь как, Иван Акимыч?.. С одной стороны заповедь, конечно,—не убий! Но есть в священном писании и такие слова, что если заведется в стаде дурная овца...

ТЕМНОВ.

Слыхал, отче! А уж коли и в священном писании сказано так, значит, и раздумывать нечего. Зови, Лапочкин!

ЛАПОЧКИН.

Я мигом! [Убегает].

ТЕМНОВ

[встает]. Ну, вы беседуйте пока! А я на стол соберу. Такие дела без вина не вяжутся. [Достает из горки графин с водкой, закуску, посуду и ставит на стол. Входят Сашка и Лапочкин].

САШКА.

Ночевали здорово!

ТЕМНОВ.

Добро пожаловать, Сашуха! Проходи да садись—гость будешь.

САШКА

[садится]. Экая честь нынче Сашке!—Малая птаха у важного филина—сам Темнов в гости зазвал... С чего бы это?

ТЕМНОВ.

А что тебе Темнов?.. Кажись, худа не делал?

САШКА.

Да оно так! Худа не было. Боятся Сашке худо-то делать. Ну и добра не видал от тебя.

ТЕМНОВ.

Стало-быть, случаю не выходило! Далеконько живем... Боровик на горушке, чилик на опушке, ну и не видят друг дружки. А сегодня пришлось вот—милости просим!.. [Наливает стакан]. Ну-ка хвати для началу!

САШКА.

А почему другим не наливаешь?

СЛАВНУХИН

[прикидываясь пьяным]. Да мы уж того, голова!.. Валяй без нас!

САШКА.

А брезгуете—черт с вами! Я и один могу. [Выпивает]. Ну, сказывай зачем зазвал!

ТЕМНОВ.

А ты не забегай, Еропыга Воробеич! Вишь прыткий какой,—зачем зазвал! А я, может, так... Уваженье сделать захотел.

САШКА.

Ой, не верится что-то! Не такой ты мужик, Темнов!.. Прольешь меду на полушку, а собрать норовишь кадушку. Говори лучше прямо!

ЛАПОЧКИН.

А вот что, Сашуха,—хочешь заработать четвертную?

ТЕМНОВ

[сердито обрывая]. А ты не выскакивай, коли бог ума не втолкал! Сорока скакала—хвост потеряла. [Сашке]. Ты как насчет колхозу-то помекаешь?

САШКА

[настораживается]. А чего помекать? Меня это не касается... Я птаха вольная!.. Ружье через плечо — и в лёт. А лесов в нашей округе хватит. Знай целься—не моргай—промаху не будет.

ТЕМНОВ.

Ну, это, как сказать!.. Может коснуться и тебя... Как заберут леса-то в колхозы... да обложат пошлиной... Скажем, за каждого зайца полтинник, за белку рупь... Вот и конец твоей воле! Сам потом поклонишься им... Дайте, мол, какой-нинаесть паек, а я уж—слуга ваш покорный на всю жисть.

САШКА.

А ты к чему это все?..

ТЕМНОВ.

А к тому, голова ежовая, что нет тебе расчету за колхоз стоять. Ты лучше поближе к нам... Сытее дело-то будет!

САШКА.

Ну, это ладно, скажем!.. А какой смысел-то из этого выводить?

ТЕМНОВ.

А ты раскинь мозгами-то!.. Кто у нас колхозному делу зачинщик?—Стукалов! Он смутьянит... он всю деревню разворошил... Не будь его—мужикам-то никогда бы и не подняться на такое дело... Покричали бы, стадо,—кто куда, да с тем и остались бы на старине... Вот теперь и смекай!

САШКА.

Та-ак, та-ак!.. Волк в собачьей шкуре скрывался, да на сторожевого пса нарвался... Значит, сторожевого надо того... Понял!

ТЕМНОВ.

А коли понял—и объяснять нечего. С умным человеком приятно и разговор вести. Ты ему свистнул—а он уж смыслил.

САШКА.

Я это могу!.. Зарезать человека—плевое дело для меня! А сколько ты дашь?

ТЕМНОВ.

Скажи сам!

САШКА.

А тыщу.

ТЕМНОВ.

Ах, ты, пыж отрепяный!—тыщу! Да ты имеешь ли понятие—что такое тыща?

САШКА.

А меньше не возьму.

ТЕМНОВ.

Ну, так что ж—и не надо! Поищем подешевле.

САШКА

[встает]. А ежели я отправлюсь сейчас куда следует... да заявлю на вас... [Все вскакивают].

СЛАВНУХИН

[испуганно]. Дда ты что, голова?!. Мы к тебе с добром, можно сказать... А ты нна-ко, какое дело!..

САШКА.

Ха-ха-ха-ха-ха! Струсили, мать вашу?.. Не бойтесь! Я так... пошутил.

ТЕМНОВ

[мрачно]. А ты не шутил бы... коли о деле с тобой... Чего зря стращаешь людей?.. Мы тоже не дураки! Вслучае и отпереться можем. А ежели по хорошему—вот тебе сто рублей... Да и Славнухин что-нибудь даст.

СЛАВНУХИН.

А сделай милость, голова! Хошь завтра вали за мукой—нагребу мешка два... И вперед не оставлю—ежели хватит мель.

ЛАПОЧКИН

[жадно сверкая глазами]. Вот счастье человеку! Чтобы мне этакие-то способности!.. Соглашайся скорее, Сашка!

САШКА.

Ну, сотня так сотня! А вы когда его думаете?..

СЛАВНУХИН.

Да надо бы поскорей, голова! Время—конь быстрый! Не успел вскочить верхом—за хвост потом не ухватишь. А только это дело надо как следует обмозговать. Ежели, скажем, в деревне у себя—опасно! Сейчас же подозренье на нас...

ЛАПОЧКИН.

А вот случай-то!.. Завтра ночью Стукалов поедет в район! На что лучше! Подстеречь в Туровской поскотине—думай на кого хошь! А места там очень подходящие есть! Ежели, скажем, у Черного логу... Помните, мост еще там... Оченно глухое место!

СЛАВНУХИН.

Верно, голова!

САШКА.

Ну, у Черного так у Черного!.. Только—чур, уговор!—итти всем вместе.

СЛАВНУХИН.

А ты бы лучше один, голова! Не так бы оно и заметно...

САШКА.

Один не пойду! Кто вас знает, что у вас на уме! Да и неповадно!

ТЕМНОВ.

Сашка правильно говорит! Раз надумали дело—нечего прятаться друг за дружку! Да и вернее, ежели всем... Один промахнул—другие докончат... [Слышен стук].

СЛАВНУХИН.

Ой, кто бы это, голова, так поздно?

ТЕМНОВ

[хмуро]. Наталья, наверно! С собранья ихнего... Вы поостерегитесь при ней...

СЛАВНУХИН.

Не предупреждай, голова,—знаем! [Входит Наталья, бросает сердитый взгляд в сторону стола и направляется в боковушку].

ТЕМНОВ.

Где шлялась до поздна? По собраньям таскаешься?..

НАТАЛЬЯ.

А тебе зачем знать? Я не спрашиваю, о чем вы тут совещаетесь.

ТЕМНОВ

[закипая]. Да ты с кем говоришь, сука?!. Отец я тебе, али нет?

НАТАЛЬЯ.

Зверь ты—вот кто! Дикий, неуемный зверь! Захлестнула тебя огневицею жадность, распалила бешеной злобой,—вот и бросаешься на всех. Лютуешь всю жизнь, неистовствуешь... Мать в гроб вогнал, брата старшего до смерти забил, другого идиотом сделал... Я вот только осталась... Да и то—разве я человек?.. Взмутил и меня... Налил до краев этой злобой своей звериной, всполыхнул кипящей ненавистью... У зверь!..

ПАИСИЙ.

Ай, ай, Наталья Ивановна! Как же это вы?.. Родитель воспитал вас, образованье дал, а вы так непочтительно с ним... Не хорошо! Не хорошо!

НАТАЛЬЯ.

А вы помолчали бы лучше! Образованный человек! Когда-то, наверно, хорошие книжки читали... может быть, в семинарских бунтах участвовали... прокламации революционные распространяли... А теперь?!. Какой блестящий конец! Водите компанию с кулаками, служите темным силам... И вы смеете плескать мне в лицо старенькую прокисшую мораль?

СЛАВНУХИН.

Так что уж это вы, Наталья Ивановна,—и за людей не считаете нас?

НАТАЛЬЯ.

Вы—люди?.. Да разве бунтует в вас живое — человеческое? Люди плавятся в огненной смене дней, бушуют в общем человеческом потоке. А вы?!. Что вы делали все время? Жили обманными плутнями, да изворотами разными хитрыми... О! я знаю вас!.. Дай вам полную волю,—все захватили бы вы загребущими руками, весь мир ограбили бы!

ТЕМНОВ

[вскакивает]. Да что вы разговариваете с ней? Замолчи стерва! Убью!

НАТАЛЬЯ

[гневно выпрямляясь]. А ну, тронь! Что плавишь глазами-то? [Наступает на отца]. У зверь! Была бы сила—вцепилась бы в тебя, распазгнула бы на куски, раздавила как гадину ползучую!

ТЕМНОВ

[невольно пятясь]. Вот дьявола—бешеную вырастил!

НАТАЛЬЯ.

У-у, как я ненавижу тебя! [Уходит. Все подавленно молчат].

САШКА.

Га-га-га-га-га! Го-го-го-го-го! Как она ловко вас!.. Вот пуля—девка! Ха-ха-ха-ха-ха! [Покатывается на стуле, потрясая воздух раскатистым гогочущим хохотом].

ПАИСИЙ

[встает]. А не порали гостям по домам? Надо хозяину и покой дать. [Все поднимаются].

ТЕМНОВ.

Ну, идите не то! Я провожу. [Кидает хищный сторожкий взгляд в сторону боковушки]. Там, на дворе, и порешим окончательно все. [Уходят].

НАДЬКА

[вылезает из-под одеяла]. Наташь, а Наташь! Ты не спишь?

НАТАЛЬЯ

[показывается из боковушки]. Чего тебе, Надька?

НАДЬКА.

Посиди со мной! Мне страшно!

НАТАЛЬЯ.

Ты что, глупая?

НАДЬКА.

Да, что!.. Тебе хорошо!.. Пришла из школы, поела, да и пошла опять—куда-нибудь на собранье... А я все дома одна... А у нас-то кажинный вечер—как погасят огни у суседей, так и начинается... Мамка с Васильем все какие-то узлы таскают... прячут чего-то... А потом к тятьке кто-нибудь придет—и почнут: шы-шы-шы, да шы-шы-шы... И все злые, презлые... А пуще всех тятька... Уставится исподлобья—а глаза-то так и полыхают, так и полыхают... как у волка.

НАТАЛЬЯ.

А ты не обращай вниманья! Накройся одеялом— и спи.

НАДЬКА.

Уснешь тут!.. Они вон все такие страсти говорят... Уж так страшно, так страшно—а и послушать хочется.

НАТАЛЬЯ.

Ах, Надька, Надька! Что я только буду делать с тобой?.. [Задумывается].

НАДЬКА.

Наташь, а Наташь! А ты подойди-ко сюда!

НАТАЛЬЯ.

Чего тебе еще?

НАДЬКА.

Да ты подойди ближе-то!

НАТАЛЬЯ

[подходит]. Ну?

НАДЬКА

[боязливо оглядываясь]. Они убить его хотят...

НАТАЛЬЯ

[вздрогнув]. Кого?

НАДЬКА.

Ну, кого!.. Сама знаешь, небось... почетника твоего.

НАТАЛЬЯ.

[возбужденно]. Стукалова?

НАДЬКА.

А то кого еще?.. Один у тебя!..

НАТАЛЬЯ

[все больше возбуждаясь]. А ты это верно, Надька?.. Не приснилось тебе?

НАДЬКА.

Да, приснилось!.. Я и не спала совсем... Слышала от слова до слова. [Наклоняется к самому уху Натальи]. Они его ночью хотят... И место назначили, где подстеречь...

НАТАЛЬЯ

[сверкнув глазами] Вот как!.. А когда, Надька?

НАДЬКА.

Ну, когда!.. Сказывала, ночью.

НАТАЛЬЯ

[волнуясь]. Вот, глупая! Да когда ночью-то: сегодня, завтра, послезавтра?

НАДЬКА.

А когда же?.. [Припоминает]. А вот и забыла!

НАТАЛЬЯ

[волнуясь все больше]. Ну, где, по крайней мере?

НАДЬКА.

А где же?.. [Силится припомнить]. Тоже не помню.

НАТАЛЬЯ.

Ну, как же это ты?.. Надька, милая!.. Да ты припомни!.. Напряги память-то!..

НАДЬКА

[свирепо морщит лоб]. Не могу вспомнить, Наташа.

НАТАЛЬЯ

[в отчаяньи]. Ах, да что же это?!. Надька!!. Ведь убьют они его!.. Убьют! У лихоманы! Звери!

Занавес.

---

*Д. ГОРБУНОВ.*

## ВЕСНА В ЗИМЕ.

Ужели врет мой календарь? —
Он в числах очень бестолковый!
Вот ветер капельками льда,
Морозом на зиму подкован.
И солнышко плывет на мель
На чужеземном пароходе, —
А я нашел весну в зиме,
Как золото в земле находят.
Ее за пазухой принес
Мне из деревни странный вестник,
И слов серебряный овес
Посыпался в хмельные песни.
. . . . . .
— К нам, на болото, занесло
Каких-то дьяволов с машиной.
Большущая машина, с дом!
Максимыч, что же это? Что же?
Болото, чортово гнездо,
И то надумали тревожить.
Канавищу хотят прорыть
До Волги через наше поле...
Конечно, им видней с горы.
Но мне не понутру, соколик.
Во-первых, ягода у нас:
И клюква, и брусника рядом.
Пастух с весны до снега пас...
И что им от болота надо!?
Лекстричество, слышь, говорят
В болоте по ночам-то стонет.
По моему—все это зря,
В нем, кроме леших, ничего нет.
. . . . . .
— Так, значит, фабрику огня
Там строят из нечистой силы?
А ты—на клюкву променять?..
Эх, дедушка, опомнись, милый!

---

*МИХАИЛ МАРКОВ.*

## ДВЕ ПЕСНИ.

Под пахучими овчинами
Спит, слюнявится телок;
Закоптилися лучиною
Стены хаты, потолок.

Русь нагая, Русь сермяжная
Обрала своих людей.
Прялки песенка протяжная
Тянет соки из грудей.

Едет тройка. Колокольчики.
В окнах муть—не разглядеть.
Дед, пуская дыма кольчики,
С табаком встречает смерть.

Он скорбит: зачахли клеверы,
Занедужили овсы;
Далеко, на хмуром севере—
В кандалах любимый сын...

Годы с ахами, да охами!
Скособочилась изба...
Эх, судьба,
С лаптями, с сохами,
Эх, мужицкая судьба!

Сила на веки украдена.
Грязь, налоги, копоть, гниль...
Это быль о наших прадедах,
Неприкрашенная быль.

* * *

Догорели, позаброшены
И лучина, и соха...
Гордый трактор—
Гостем прошенным
В поле выгрохал пахать.

Светит солнце,
Солнцу верю я.
(Дружбу с солнцем берегя!).
О стальная кавалерия!
О победные шаги!

Край овсяный,
Край осиновый,
Сердце резкое мое!
Соху с лампой керосиновой
Я сдаю
В утиль-сырье.

---

*Н. СОКОЛОВ.*

## Л Е Н.

Вначале беспомощный
Он пророс
Сквозь жирную землю
Совхозных полос.
И люди,
Губя посторонний лист,
Его воспитанием занялись.
Когда нагулял он
И ковкость,
И вес —
По нитке из почвы
Был выдерган весь.
Он мялке был дан на с'едение.
Ах!
Он сгибнет в ее
Деревянных зубах.
Как самый ничтожный,
Мельчайший пустяк,
Дробится его
Не окрепший костяк.
И бережно складываются
У окна
Пучки пережеванного
Волокна.

Десяток подвод,
Как морские суда,
Его экспортировали сюда,—
Где воздух колышется,
Как качель;
Где снег продымился;
Где сотни ткачей
Безусых
И с пухом над верхней губой
Ведут небывалый
Хозяйственный бой;
Где сотни свирепых до дела рубак
Засели за выделкою рубах.

Он снова и снова
Брался в оборот:
Его расчленяли
На горы бород,
Его чесали на все лады,
И пряжи купали
В бассейнах воды,
Пока не застыла,
Чиста и плотна,
Река первосортного полотна.

---

*Н. КУДАКОВ.*

## У Р О К.

Проплывали караваны туч,
Проплывали
К югу величаво.
Засуха стояла на посту,
Караулила хлеба и травы.

Изнывали травы и хлеба,
Мучаясь в истоме смертной жажды.
Ни одна мужицкая мольба
Не дошла до неба... Но однажды

Из-за дальних голубых озер,
Огибая гор седые кручи,
Выходила в небо, на дозор,
Широко расправив крылья, туча.

Где-то в небе загорался бой,
Гром грозил
Разгромом всей вселенной.
С крестным ходом, жиденькой толпой
Мужики пришли к околице селенья...

Славил поп величие „творца“,
Щедрый дар свой посылающего свыше...
Бились одинаково сердца
И старух, и дедов, и мальчишек...

Возносился сонм торжественных псалмов,
Дым кадильницы кружился кудреватый...
И, томясь под тяжестью грехов,
Старики вздыхали виновато...

И под грохот грозных канонад,
Бросившись кипучей белой лавой,
Заплясал, подпрыгивая,—град
По примолкнувшим хлебам и травам...

... Расползались караваны туч,
Умывалось успокоенное небо...
Солнце каплями сочило теплоту
На поля расстрелянного хлеба.

---

# ПРИКАЗ РАЗУМА.

РАССКАЗ.

Третий день не может Байков открыто взглянуть в глаза своей поручницы. Чаще, чем следует, заправляя нитки, он воровато наблюдал за нею и по новому воспринимал знакомые движения ее ловких рук, наклоны выточенной головы. Когда поручница оборачивалась к нему лицом, он, как под ударом кола, быстро опускал голову и без нужды бросался расправлять основу и ремизки. Пустив челнок со свежим початком, Байков, все-таки, решил подойти к соседке.

— Ольге Алексеевне привет и тысячу лет!

— А может, в один уложимся?

Переборы батанов и гонялок заставляли наклоняться к самому уху. Прядки коротких бледно-золотистых волос коснулись верхней губы и по всему телу розлили приятный холодок.

— Дело есть до тебя, Алексеевна. Думаем тебя в председатели мопра катнуть.

— А похуже меня не нашли?

— Нет, ты все-таки подумай хорошенько.

За четыре года Байков незаметно для себя изучил Ольгу Алексеевну до тонкостей. Он знает, что Ольга любит порядок, знает ее неустанные заботы о чистоте в квартире и около станка. Пьет чай она обязательно из низенькой и широкой чашки с синим тонким ободком. Читать не любит, зато любит петь веселые песни своей трехлетней дочери. Никакая работа еще не оставила следов на ее крутых плечах.

Что же такое случилось, что в сердце его образовалась трещина, через которую просочились безотвязные предчувствия? Ничего особенного. Всех дел, что третьего дня ущипнул ее за бок, а она его и чортом не обозвала, — только взглянула тихо, просто. Немой укор за невнимательность прочел в тот день Байков в ее глазах.

После работы Байков вышел из фабрики вместе с Ольгой. В тесноте слегка дотронулся до ее руки и погладил, как самую хрупкую вещь, которую надо беречь всеми силами, которая вызывает к себе одновременно: и жалость, и радость, и готовность на все. Погладил и спохватился: вдруг да кто заметил? Так и кажется, что все смотрят на него и уже все знают, но только виду не показывают, для чего и почему он идет вместе с Ольгой.

* * *

Бюро партийной ячейки поручило агитпропу Байкову заняться специальной обработкой подмастерья Скворцова — завербовать его в партию. Выполняя заданье, Байков напросился к подмастерью в гости.

Жил Скворцов в Соболевке. Дом его притулился на задворках. Крыша давно не видела свежей, духовитой соломы. Года, как козы, обглодали углы. Ворота покосились. Только на одном окне чудом уцелел замысловатой резьбы наличник.

— А у тебя того... — на твою обстановочку не раззадоришься, — оглядывал Байков невзрачное хозяйство Скворцова.

— Бросить все думаю, — ответил подмастерье. — Потеряла земля власть надо мною. Разве когда, по весне, приснится этакое...

Скворцов примерился к тройчатым вилам, погладил клин своей серебряной бороды и усмехнулся:

— Но мало что приснится.

— В подмастерьях-то давно ходишь?—задал вопрос Байков.

На лбу Скворцова прибавилась морщинка:

— А ты что, не знаешь?

— Да нет: знать-то знаю. Я спросить только хотел: почему ты не в партии...

На лбу Скворцова прибавилась еще одна морщинка, а брови соткнулись вместе:

— Не Грачев ли тебя настрочил?

— Что значит Грачев! — вспылил было Байков, но тут же поправился. — Эх, Ефимыч! Я на много моложе тебя, а с почтеньем бы дал тебе трепку, честное слово. Человек над каждым винтиком дрожит, как клуха над мокреньким цыпленком, каждому станку кусочек сердца отдает... Ефимыч, родной, тебе бы надо нас, молокососов, уговаривать, а не нам тебя.

— Не расходись. Пойдем-ка в избу: самовар, кажется, готов.

— Я к тебе не чай гонять пришел — скажи что-нибудь?

— Ничего сейчас не скажу. Пойдем!

За чаем говорил все больше один Ефимыч. И не все уловил Байков из его речей. Многое казалось ему нежизненным, непрактичным, — любит пофилософствовать Ефимыч в поздний час. Но необыкновенная проникновенность его голоса крепко приковала Андрея к широкой лавке.

— Не найдешь ты старого рабочего: все переродились, — колдовал Ефимыч. — Ты не гляди, что другой раз клянет тебя сплеча да советскую власть из души в душу материт: свое это он распекает, знает, что ровным счетом ничего ему за это не будет.

—Нет уж извини, — горячился Ефимыч, хотя Байков и не шевелился, — потянул на критику, так изволь принять во внимание бедность нашу некультурную, скудость разговорную, сла-

бые запасы прилизанных словечек. Ты сунься, попробуй, с настоящей враждой, всурьез посоветуй рабочему напакостить, чтоб он на деле показал свою ругань, — не рад и будешь, тут уж тебя никакой билет не спасет. А так, и зловредная шваль есть... — Есть, как ей не быть... Вот я и думаю, Андрюша... Ты только, пожалуйста, не смейся — тряхнуть наших ткачей. Как? — Самолюбие их задеть. Дело верное. Я начну, а ты, скажем к примеру, меня поддержишь, и дело пойдет. Для начал у меня условье небольшое: к комплекту я прибавляю пять станков, выработку увеличиваю хотя бы процента на три...

Не мог уложить Андрей в своей голове великое предложене Ефимыча. Еще не бушевало по советским фабрикам и заводам пламя социалистического соревнования. На долгие месяцы спрятал Ефимыч ото всех свое новое предложение, но Байкова, что не понял его, Ефимыч не осудил и до реки проводил Андрея по обильной и прохладной росе.

* * *

Байков себя не узнавал. Ему стало тягостно выполнять задания бюро. Неотложные дела добровольных обществ, вербовка в партию интересовали его меньше, чем раньше.

«Из-за чего?—спрашивал себя Байков.—Виновата ли Ольга?.. А ведь она такая простая, понятная, близкая. При ней и станки лучше работают. — Нет, брошу! Больше с нею и разговаривать не буду. Сегодня же опять к Скворцову махну... Подурил и будет».

Байков поднял голову. В корпусе крутилась пыль. Хотелось пить, но в бачке — ни капли. Ржавая кружка на цепочке вызывала на размышленья: чаю бы подать директору в этой кружке. Через секунду он впал в такое состояние, когда все существо сливается с окружающим и человек чувствует себя неотделимой частью этого окружающего. В эти минуты особенно бывает хорошо. Чувствовалась полная слиянность со станком, казалось, что ремни и приводы — это собственные его, Андрея, нервы. Корпус раздался вширь и вдоль. Солнце рисует лучами на колеблющихся полотнищах пыли самые замысловатые узоры и тут же их разрушает и снова рисует. Руки, верные законам привычки, заранее предвидят предполагаемый останов станка: пухлый откормленный початок послушно и удобно втискивается в тесный челнок, чтобы навсегда растаять в бесконечной основе. Вдруг Андрей вздрогнул: к нему подходила Ольга.

— Все-таки не отвертелась от твоего мопра — выбрали.

— Не мой, а международный.

— Вот хочу заявленье в ячейку написать, — не отходила поручница. — Муж дерется.

— Что, что? — с живостью обратился к Ольге Байков, забыв уговор с самим собой.

Но та ничего не ответила.

* * *

На очередное заседание бюро ячейки Байков пришел последним.

— Как у тебя дело со Скворцовым? — встретил его секретарь Грачев.

— Ничего, как будто наклевывается.

— То-то, наклевывается. На, читай.

В руках Андрея очутилось заявление Скворцова о приеме в партию. Рекомендует его Грачев и... вместо второй рекомендации есть приписка самого Скворцова: — «Вторую рекомендацию прошу у т. Байкова».

Дальше шло заявление Ольги. — «Сил моих нету, — писала она. — Уймите его, а то я руки на себя наложу».

Давала пояснение встречница Ольги — кандидатка Одинцова:

— Дело было в субботу, на той неделе. Я белье развешивал. Вдруг, зазвенели стекла... Слышу—Назарова завопила. Подбежала это я к их дому, а Клементьич вот бушует, вот бушует,— левой рукой Алексеевну держит, а правой орудует: раз по стеклам да по раме, раз по жене, раз по стеклам, раз по лицу. В мочалку исхлестал ее, жену-то: она даже и кричать перестала, — вот ведь что! Потом вот Ефимыч да Ловцов прибежали, а то была бы беда. Вся деревня сбежалась.

Грачев к Назарову. — Врет она?

Ответа не последовало.

— Чем крыть будешь?

Ждал секретарь, ждали члены бюро.

— Двадцать три года проработал, — тихо начал Назаров и остановился, оглядывая присутствующих, как бы спрашивая их:

«Зачем я, собственно говорю про это?»

— В слесарной мастерской в первый же день накачали до сшиба, — снова начал обвиняемый. — С отца на могарычи содрали. Отец на руках, как мертвого, в тот день тащил меня домой. Ну и пошло, втянулся: каждую дачку неполна отдавал: на мерзавчик себе оставлял. В крапивах, по канавам, у заборов, в грязи по дорогам редкую неделю не поваляешься. Пьяный, не просыпаясь, и женился. И сейчас... Верите, или нет: как увижу вино, так слюной и давлюсь. Не проговеть дня три, или четыре: ноги дрожат, руки опускаются плетями... Опамятовался было я, когда меня в партию стали затягивать. Все-таки ведь и сейчас воздерживаюсь, только вот разе на прошлой неделе немножко сорвалось, так вы уж не очень на первый-то раз. Честное слово даю, этого больше...

Назарову вынесли строгий выговор с предупреждением.

В горячей словесной схватке предлагали совсем исключить, но решили посмотреть, что из него получится после лечения.

Байков окончательно в себя пришел от переживаний этого дня только в поле под ливнем золотистой пыли. — Цвела рожь. Отсюда — на полпути до Соболевки — фабрика казалась картинкой: верхние этажи малиной сочной зрели под ярко-зелеными скатами крыш, оберегаемые от налетов хищных ветров темными занавесками вплотную набежавших рощ. Труба попыхивала сизым дымком. Похоже, что кто-то, сидя в чаще малинника, неторопясь, курил папиросу.

— Зачем это я в Соболевку направился? Не за чем: с Ольгой покончено.

* * *

На богатом рессорном тарантасе, кругом обложенная кульками, свертками, мешечками, корзинками подкатила к Соболевке осень.

Соболевка стоит на двух косогорах. Когда-то косогоры наступали на реку. Река в испуге шарахнулась к рощам низкорослого дубняка. Здесь перевела дух, а потом, оглядываясь, тихой сапой обошла косогоры и забилась в темень непролазного, дремучего соснового бора.

На косогоре, что повыше, в доме, покрытом дранкой, живет Ольга.

Вчера она дала понять Андрею, что пойдет собирать калину. Калины здесь не впроворот. Андрей зорко наблюдал за Соболевкой и за убогим мостиком. Он уже перестал бороться со своим чувством к Ольге. Теперь он сам шел на то, чтобы выгадать побольше свободного времени для нее, но вместе с этим в нем росло глухое раскаянье против никчемной траты времени. Всем существом он понимал, что обкрадывает ячейку, отдает ей уже не все силы, как бывало. Многие поручения ячейки стали выполняться спустя рукава.

Это мучило Андрея, не меньше, чем безответная неурочная любовь к Ольге. В часы подобных переживаний он готов был рассказать на бюро о всех его взаимоотношениях с Ольгой. Он верил, что это направит его на путь. И каждый раз при воспоминании тихой и простой улыбки и еле ощутимого призыва светло-зеленых глаз Ольги слова застревали в горле. И так горела его любовь, качаясь, как дрожащая солнечная осинка, по засыхающим веточкам души пробираясь в самую глубь сердца.

— Что же дальше?—неоднократно спрашивал себя Байков.

По тропинке с корзинкой на левой руке шла Ольга.

— Конечно, она. Легкая походка. Отрывистое раскачиванье правой рукой. Будто выточенная голова в красном шелковом платке. — Она!

Байков подбежал ближе к мостику и притаился. Дробь каблуков все ближе и ближе... рядом. — Любимая!

Андрей выскочил из своей засады. Обнял Ольгу и прижался к ее щеке, упиваясь запахом разметавшихся по лицу волос.

Заглядывая в зрачки ее глаз, в тон шелестящим напевам жестких листьев дубняка, Андрей выкладывал перед Ольгой боль свою, скрашенную радостью свидания.

— Когда мне не приходится тебя провожать, я один иду от самой фабрики до Соболевки, вспоминаю: вот здесь она стояла со мною... здесь оглядывалась на меня... здесь я расставался с нею...

Слушая горячую исповедь Андрея, Ольга видела, как шел к ней Андрей, спотыкаясь, нежный и сильный, податливый и просящий. И она сама вот-вот бросится к нему с единственным, обжигающим словом—желанный! Но срезала мысль:—«До чего я дошла? Муж, ребенок... Сплетничать-то как начинают!.. И он тут»...

— Оля, как быть?—Врозь с тобой жить невмоготу,—говорил Андрей:

— Пустое это все. У тебя жена хорошая—живи с нею.

Глаза ее сузились и сделались обиженными, сухими.

— Дело ли ты говоришь, родная. Виноват ли я, что в первый раз полюбил?

— Бросить надо все,—упрямо твердила Ольга.

Сыростью потянуло с реки, холодом.

— Бросить? Олька!.. Тебя?

Глаза их встретились. Крепко стиснув, он уронил ее на толстый слой звенящих листьев, обжигал поцелуями губы, руки, грудь.

— Что ты делаешь? Андрей, не надо! И встречаться с тобой больше не буду. Андрюшенька... не надо,—в неподдельном испуге дрожала Ольга в руках Андрея. Андрей поднял ее и, не прощаясь, скрылся в дубняке.

Ольга снова опустилась на землю, долго смотрела в ту сторону, где скрылся Андрей, и заплакала.

* * *

На фабрику беда нагрянула. Черный тяжелый слух, как уж огромный, влез в корпуса и рассыпался по станкам маленькими уженятами. Слушки-уженята завертелись в ногах, нагоняя страх безработицы: шла смерть бодрому гудку, всей фабрике и привычному укладу жизни.

Беду привезли в конце зимы из округа.

В ячейке и в фабкоме, потом на делегатском собрании, как перед покойниками, докладывали о том, что все давно знали: фабрика пришла в полную ветхость, стены превратились в дряблую репу, машины дышут на ладан, второй год фабрика еле-еле концы с концами сводит, второй год скрипела без прибыли и убытка. Ни о каком капитальном ремонте не может быть и речи: легче и дешевле поставить новую фабрику. Но строить ее здесь трест не намерен: далеко от путей сообщения.

Ни ячейка, ни фабком, ни делегаты резонного ответа товарищам из округа не дали. Клонили к тому, чтобы приезжие не

поленились выступить в четвертый раз, но уже перед всей двухтысячной массой ткачей и прядильщиков.

В ячейке непролазная толчея. Не хватает места и в коридоре. Как мощный конвейер струится поток потревоженных рабочих. На фабрике почти не работают. Сбиваются кучками, толпами и до хрипоты доказывают друг дружке и тут же отрицают сказанное.

— Куда я дену головушку свою, — голосила над своими станками Матрена Гусынина.—Пашню размотала, лошадь продала... Подняться ли мне теперь с двумя малышами?

Из ячейки все разом хлынули в фабрику. Впереди неслась буйная краснощекая Одинцова:

— Кончай работать. Чего тут. На собрание!

— На собрание-е-е! В большой корпу-у-ус!—наростал крик.

— Сматывай удочки. Доработались при товарищах,—прокряхтел кто-то на лестнице.

— В большой корпу-ус!—грохотало, стихало и вновь гремело по всем закоулкам фабрики.

В этот день опасались за перекрытья большого корпуса: пришли все, даже кочегары, не обращая внимания на ругань механика. Извиняющимся голосом представитель треста изложил суть дела. В ответ — молчанье. Выступил представитель окружного отдела профсоюза текстильщиков:

— Мы, товарищи, долго возились с трестом по поводу вашей фабрики. Пришли, однако, к выводу, что трест прав. Около семи сот рабочих, неимеющих связи с землей и наименее обеспеченные, будут переведены на другие фабрики треста сейчас же. Почти столько же рабочих средней обеспеченности будут переброшены на другие фабрики в течение этого же года...

Собрание молчало.

Размахивая руками, то и дело вскидывая масляные глаза на представителей округа, выскочил и затараторил, председатель фабкома:

— Товарищи! Вспомним годы военного коммунизма, как рабочий класс грудью своей отражал все удары коварной Антанты. Сейчас, товарищи, наша советская власть еще не имеет достаточно средств, чтобы для всех построить новые фабрики. Она пользует пока старые. А нашу фабрику и пользовать больше нельзя.

— Товарищи, неужели мы это забудем и с должным вниманием не отнесемся к предложению? Я нахожу предложение всеми уважаемого представителя треста вполне приемлемым и предлагаю обсудить такое дело. Я поддерживаю и представителя нашего отдела и приветствую его начинания.

— До ручки доработались. Все прахом пойдет, — прокряхтел чей-то голос, но сейчас же осекся.

Приезжие, сбитые с толка необ'яснимой тишиной, с недоумением поглядывали на президиум собрания. С предложением

ячейки должен был выступить Байков, но тишину вдруг нарушила Ольга Назарова:

— Дайте слово.

Секретарь было позамялся, но слово Назаровой все же дал. Держа в руке красный платок, плотно сжав губы, предстала перед рабочими Ольга. Она только-что пришла на собранье: эти дни не работала по болезни.

— Фабрику надо закрыть? — Хорошо, давайте закроем! Только вот что, милые трестовики, — выкрикивала Ольга, — мы, сами рабочие, с нынешней же весны возьмемся строить для себя новую фабрику. — Поняли? Я первая из своего заработка буду отдавать половину на постройку. А нас две тысячи. Поняли? А то ведь и до Москвы мы дорогу знаем...

Сама того не ведая, Ольга высказала думу всех рабочих, всей ячейки. Что-то прошелестело и хрустнуло. Гигантская ладошка хлопнула по потолку, отскочила в стену, в другую. Застонали стекла: корпус содрогался от криков:

— В Москву!

— Молодец, Назарова. Постановляем!

— До ручки доработались!..

— В Москву... Скворцова, Грачева, Назарову.

— Скоро жрать нечего будет...

— Байкова!

— Хватит. Довольно!

— Все прахом пойдет...

— В Москву! Новую поставим, записывай!

Рядом с Назаровой вырос Байков. Из глубины корпуса, как оставшиеся чайки, неслись отдельные выкрики:

— Выстроим!

— Ходоков в Москву!

— Ячейка, за нас вали!

Байкова забило. Коленки тряслись. Возбуждение массы розожгло его, но Грачев первый раз не доверил ему и выступил сам:

— Товарищи, мне говорить больше ничего не осталось: все высказала товарищ Назарова. Наша фабрика не жилец на этом свете. Года два еще продышит, а больше ни под каким видом. Но ячейка осталась бы на бобах, если бы она не учла вашего порыва. При таком под'еме уши нечего развешивать: строить так строить. Льна вокруг нас — хоть реку загачивай. Кое-что и из этого барахла в дело можно будет пристрочить, — и Грачев показал рукой на станки. — А главное, что нас должно подкрепить, так это то, что обком партии посылает комиссию обследовать нас. Может, и наши средства не потребуются...

Корпус ахнул, заворчал.

— Долой! Слезай, Грачев!

— Мы заставим принять нашу помощь.

— Не пойдем на другие, свою сколотим. Лесу много.

— До Сталина доберемся.

Матрена Гусынина, толпясь в передних рядах, махнула рукой в сторону Грачева:

— А ты, коли над всеми доглядывать приставлен, слушай, что тебе говорят, не перечь умным речам.

Для поездки в Москву выбрали: Скворцова, Байкова, Одинцову, Ловцова и кочегара Привалова. Ольга снова выступила вперед вместе с тремя ткачихами:

— Если годимся для партии, то просим ячейку принять нас.

Двухтысячная масса сначала не поняла в чем дело, потом местами начала расступаться и пропускать вперед: прядильщиков, кочегаров, шлихтовальщиков, ткачей, электриков. У президиума скопилось полсотни тех, чей день сегодня был последним днем их беспартийной жизни. Вышла Матрена Гусынина:

— Меня все сплетницей считают, а только бы приняли в партию — вот крест даю — перестала бы. Грамоте научена, не трудно будет.

* * *

Байков с собрания заманил Грачева к себе обедать. Дорогой разговорились:

— Скворцов мне передавал: пять комплектов сговорились работать по-новому — кто больше и лучше выработает.

Андрей что-то припомнил из разговора с подмастерьем в полузабытую летнюю ночь.

Грачев продолжал: — Скворцов еще одну штуковину выложил. Говорит — надо кой-кого из зажиточных просеять, кулаки завелись, мутить они начинают на фабрике.

По тропам группами расходились рабочие. С тропы на тропу перескакивали выкрики и отдельные замечания.

— Под Соболевкой глины на всю сесесеерию хватит.

— И лен под руками.

— Самим надо до всего доходить.

— Назарова молодец.

Под ногами похрустывал плотно утоптанный мартовский снег.

Квартировал Байков в комнатке с одним окном. Солнце сюда не забегало ни зимой, ни летом. Стены беспрерывно сочились мутной и холодной сукровицей.

— Вас бы с ребенком переселить отсюда, — заметил Грачев.

— Ребенок больше в очаге да наверху находится, товарищ Грачев, — ответила, подавая на стол ложки, соль, хлеб жена Байкова, Капитолина Васильевна. — Там мы тоже вроде очага устроили.

— Хорошо тебе, Андрей, — улепетывая за обе щеки мясную похлебку, позавидовал Грачев. — Придешь, а у тебя и обед готов и прочее такое.

— Плохо ли, — вмешалась Капитолина Васильевна. — Как ни коммунисты, а насчет этого не провороните. А ровно бы и пай один: что я коммунистка, что он. Ему на собрание, а мне на два, да успей встать пораньше, печку истопи, приберись. Измыкаешься, истреплешься в прислугах у своего же мужа — и ты же виноватой останешься.

Сидевшая напротив отца четырехлетняя Светлана выпалила:

— Папа, папа, не любишь ты маму.

По лицу Капитолины поплыли красные пятна.

— А меня ты любишь?

— Нет, папа. Я товаища Г'ячева любью.

— Вот оно что! Ну так поцелуй меня.

Светлана вихрем слетела со стула и с визгом бросилась к отцу на шею:

— Угадай, чего мне мама купия? Копийку, — и побежала искать копилку.

В присутствии секретаря Андрей решил, наконец, рассказать жене обо всем... Несговорчивость любимой Ольги, издерганная и неприласканная его любовь к ней, стыд и сознание вины перед всеми — медленно стекали с его слов. Как приговоренная, сидела Капитолина Васильевна. Подбежала Светлана и вскарабкалась на руки отца.

— П'епая копийка, п'епая.

Посмотрела сначала на отца, потом кинулась к матери:

— Мамочка, пожаей папу!

Мать не пошевелилась, только плотнее сжала губы.

— Мамочка? — тормошила Светлана за подол платья Капитолину Васильевну. Та поднялась с закрытыми глазами, пошатываясь, оделась. Одела Светлану и вместе с нею вышла. Вслед за нею выбежал Грачев, но вскоре вернулся.

— Пошла женкомиссию проводить.

* * *

На другой день Байков встретился с Ольгой у фабричных ворот.

— Говорят, делегация завтра отправляется?

— Завтра!

— А ты долго там пробудешь?

— Почему ты только обо мне справляешься?

Ольга отвернулась и заторопилась в корпус. Догоняя ее, Андрей шепнул:

— Любовь ты моя калиновая! Знаешь ли что? Я вчера с женой развелся...

Ольга присела. Глаза ее сделались маленькими, недоуменными.

— Ты опять с ума сошел? О чем ты думаешь? Неужели... Да ведь не бывать этому!.. Не подходи!

Байков болезненно сжался. Обида клещами обхватила и сжала горло. Всю смену что-то чужое ворочалось под сердцем...

— Ха-ха-ха! Вот тебе и любовь калиновая!

Только теперь он вспомнил о сплетнях вокруг его взаимоотношений с Ольгой... «Спутался, кобель. Не хватает ему своей-то... Мало Назаров чешет кулаки об ее бока... А еще партийный, вот и погляди на него... Чу, она сама к нему шлендала в дубняки?.. Не позволит: не та баба... Ну, милый мой, за всех-то не ручайся: вона нынче какие стали. Я и то своему Федьке: смотри, обормот, нагуляешь, она те окрутит»...

Байков ломал голову: чьи это пересуды? Да и виноват ли он? А может, уже потому виноват, что дал повод к сплетням?

Дождавшись Ефимыча, Андрей вместе с ним пошел в Соболевку: — Ефимыч, ты по любви женился?

Этому вопросу Скворцов не удивился:

— Нет, по привязанности, можно сказать.

— А так, не любил никогда?

— Как не любить... Только не вышло по любви-то.

Старое, давно зарубцованное годами, почуял Андрей в голосе старика. Это еще ближе потянуло молодого ткача к старому подмастерью и он рассказал ему о своей любви.

Глубоко запавшие глаза Скворцова скользили по осевшему и почерневшему снегу.

— На руках я Ольгу выносил; росла она без отца, без матери, — будто невзначай, тихо про себя проговорил Скворцов. — Удивляюсь, — умрет, а для себя хорошего добиваться не будет, если это хорошее окажется плохим для ее близких. Понимаешь ли, что выходит? Раньше кнутом, вожжами, холодным чуланом запрещали любить, а теперь...

Подмастерье долго подбирал слова.

—... Теперь мы сами себя сдерживаем.

Молча дошли до Соболевки и уж на крыльце своей безнадежной хибарки Скворцов проговорил:

— Ты, все-таки, от Ольги отвяжись: кривотолков что-то много развелось, хотя я тебя не осуждаю.

* * *

— А где Николай Клементьевич?

— За дровами в Балашевку уехал. Скоро вернется.

Ольга встретила Андрея сдержанно, сухо. Комнату освещала «молния». Стол накрыт скатертью. На вымытом полу—ни соринки. На окнах — кружева. Кружева и на массивной железной кровати. У перегородки в маленькой плетеной кроватке спала калачиком дочь. Полдюжины желтых венских стульев, как красноармейцы на часах, стояли вдоль передней стены, оберегая подступы к Ленину, Марксу и Энгельсу. На комоде вместе с самоваром восседал старинной работы баян. На нем играла сама Ольга. Тепло в квартире, светло и уютно.

Байков сел напротив хозяйки и взял ее за руки.

— Завтра в Москву едем.

— Счастливой дороги.

— Оленька...

Успокаивающе щелкали ходики. Спокойно командовала во сне своими куклами спящая девочка.

— Оленька, возьми эти руки себе. Ничем они тебя не потревожат: помогать только будут во всем.

— Права такого не имею, — слабо улыбнулась Ольга.

— Моя любовь отдала тебе это право. Я буду ждать, пока ты не решишься. Чего ты боишься? Разговоров? Отстанут, милая. Поговорят и отстанут. — Андрей наклонился и приблизился к лицу Ольги, чувствуя, как ее пушистые длинные ресницы щекочут его брови. С притворной строгостью она несколько раз ударила по его щеке.

— Хочешь, я обо всем договорюсь с твоим мужем?

Ольга испуганно вскочила.

— Чорт знает, что у тебя за характер, Андрей! Легко все-таки мужчины бросаются словами.

— Легко-то легко, да нелегкая привела меня к этому,—прошептал Байков.

К воротам дома кто-то под'ехал. Ольга с фонарем вышла на двор. С четверть часа просидел Андрей без единой думы в голове.

Вошли Назаровы.

— У Ефимыча был,—вместо приветствия бросил Байков.— Дай, думаю, к Назаровым зайду.

Клементьич шмыгал глазами по всем углам.

— Так, так. Пошамать бы, мать.

Появился графин настойки. Для аппетита выпили. Попотчивали и Ольгу. Она отказалась.

— Говоришь, в Москву завтра? — начал разговор Назаров.

— Да, слышал ли ты: балашевцы на кирпичный завод подбивают соболевцев. Шутки-шутками, Байков, а про новую фабрику говорят, как уже о построенной.

После ужина Ольга взяла баян. Полилась воркотня басов... В этой песне жаловалась дочь матери. Бросил ее любимый, обманул... «Красна девица» с ума нейдет, — плакался в другой песне «добрый молодец»... Отрубите мне буйну голову, киньте, бросьте ее в Волгу-матушку, — жалостно выговаривал старый баян.

«И дочего же это приторно, — вдруг подумал Андрей. Не прощаясь, он выбежал на улицу и прислонился к обледенелому столбику у крыльца. На другом конце Соболевки играла гармошка.

Расскажи, гармонь моя,
Миловидным бабонькам:

Высока ль будет стена
Д-да у новой фабрики?

Песни, вино, сознание никчемности этих, как будто надуманных выкрутасов с Ольгой, — что-то надломили в чувствах Андрея к Ольге.

Капитолина Васильевна сидела за самоваром боком к двери, когда вошел Андрей.

Светлана не спала и перебирала у себя в кроватке около матери истрепанные картинки.

— Ай, папа. Папченка пьишел! — кубарем скатилась она с кроватки прямо на протянутые руки отца. — Ты что дойго не пьиходил? А мама говолила все здесь: дойго твой папа не пьидет, дойго! — растягивала девочка слова, поглаживая бритую голову Андрея.

Капитолина Васильевна заметно волновалась. В глазах булькала маленькими пузырьками несмелая радость. Она предложила Андрею чаю:

— Еще горячий — налить тебе?

Андрей отказался.

— Сегодня у вас бюро было, — тихо, но торжественно и торопливо рассказывала Васильевна. — Тридцать семь человек приняли и Ольгу Алексеевну. Муж ее рекомендовал и Грачев. А завтра мы на своем бюро двадцать девять заявлений будем разбирать. Налить, все-таки, тебе, а?

Вместо ответа Андрей, не раздеваясь, завалился спать.

Всю ночь не сомкнула сухих глаз Капитолина Васильевна, прислушиваясь к стонам и приглушенным выкрикам сонного мужа. Все старалась припомнить: любил ли, все-таки, ее Андрей?

Выезжать на станцию делегации нужно было к шести утра. Полчаса пятого Капитолина поставила самовар, положила в чемодан Андрею пару белья, носки, полотенце, зубную щетку с порошком и пять пирожков с мясом. Пока Андрей пил чай и собирался, она стояла у окна, желая, чтобы муж произнес хоть одно какое-нибудь слово. Но он молчал.

* * *

Еще по зимнему холодное солнце скользило на широченных лыжах по синим сугробам. Налево и направо — деревни. Воткнули в снег три-четыре кола, набросили на них разноцветную дерюгу, а поверх ее жиденько хворосту—вот и деревня вся. К деревням ковыляли ощипанные и бесхвостые утята. Это — бани и риги.

В дороге перекипела любовь Андрея. Долгие размышления стерли острые края обиды и неудовлетворенности. Любовь к Ольге теперь не бурлила мятежным морем, а улеглась белоснежной, бесконечной полевой равниной. Физически ощутил Андрей нарастающее напряжение воли: невиданные московские темпы, дерзкие планы одернули его и поставили на место.

В розвальнях, зарывшись в тулупы и сено, находился еще Скворцов.

Скворцов привстал и по-мальчишески в сотый раз прокричал в синеву неба:

— Ура Москве — выручила!

Андрей снова представил себе, как они вошли в центральный комитет текстильщиков. Дородный мужчина в очках так и сказал: «Тащите сюда стулья и садитесь». Как он спросил в чем дело, так Скворцов и начал. На полдороге перебил его очкастый. — «Нам, говорит, все уж это известно и могу вас порадовать: только что вчера решено у вас строить новую фабрику— вас включили в пятилетку. На своих ребят из округа, — засмеялся очкастый, — вы не сердитесь; они еще и сами такой штуки не знают. А это хорошо, что рабочие решили участвовать в постройке фабрики. Только не пройдет вам этот номер. Наверняка говорю. Не позволим. Вот о расширении засевов льна, кирпичных заводах, о соревновании подумайте».

Как вышли на шумную московскую улицу — так и ногой притопнул Скворцов: «Это вот я понимаю! Дуй, братва, на телеграф». Дали телеграмму на фабрику: «Будут строить новую. Едем».

Нетерпение все возрастало, а фабричной трубы не видать.

— Н-но! Чортова перешница, — рванул Байков вислоухого карька. Я вот тебя!

Не успела делегация в'ехать во двор, загудел гудок. Из дверей стали выбегать рабочие. Двор зачернел, Грачев влез на первые розвальни:

— Товарищи!.. Потише нельзя ли? Митинг считаю открытым.

---

*ЛЕВ ФЕДДЕР.*

# ШЕСТЬ КОПЕЕК.

РАССКАЗ.

*Брату Юрию.*

В полдень, когда Сенька приходит из школы, мать собирается уходить на фабрику. Сухая фигурка ее мелькает, отражаясь в зеркальце на стене. Потом она долго и истово завязывает концы белой косынки.

— Сенька, — говорит мать, — еда в печи, в случае чево останется — дай кошке... — И белый платок сенькиной матери мелькает в калитке. Но, отойдя несколько шагов, она возвращается и спрашивает через окно:

— У тебя сдача от дрожжей, что давеча брал?

Сенька стоит у двери и умышленно не слышит вопроса. По углу печки ползет большая рыжая муха с растопыренными крыльями.

«На кого она похожа, эта муха?» — думает Сенька. — «А ведь, пожалуй, на нашего вожатого: он тоже рыжий и руки растопыривает, как крылья»...

— У тебя сдача?!.

Больше молчать нельзя. Инстинктом Сенька угадывает грань, на которой его молчание становится нестерпимым для матери, но как сказать? Сенька раскалывается надвое: если сказать правду, что на шесть копеек, оставшиеся от дрожжей, приказчик дал три ирисины и он, Сенька, совершенно не помнит, как с'ел их, — мать будет ругаться, а может, даже прибьет... Поэтому вторая половина удобней.

— Какую сдачу? — спрашивает Сенька. — Чай, я принес тебе на двенадцать, а не на шесть, как велела; приказчик мене двенадцати не режет. — И отворачивается, чтобы мать не видела опасной красноты, выступившей на сенькиных щеках.

Сенька не хочет видеть лица матери. Там вырисовывается все его ожидающее: щипки за уши, шлепки, толчки, там написана угроза не дать ужина, там... Сенькин страх растет и, холодный, тянется по синим жилкам ног.

— Так, говоришь, мене двенадцати не режет? — спрашивает мать, заполняя головой почти половину окошка, — а я, пожалуй, спрошу его, как он—режет или не режет, что-то больно мал искиречек на двенадцать-то тебе дали...

— Мам! — кричит Сенька. — Ей-богу, на двенадцать!

А перед глазами, как на пленке, только сильно качаясь и троясь в лицах, выползает картина: мать приходит в лавку, и приказчик, злобно вытирая черные, блестящие наручники, скажет: «Сенька? — Был, был — на шесть копеек дрожжей и на шесть три ирисины, он и ел их вон тут у двери»...

А вечером мать прибежит домой и бросит жесткие щипчики пальцев за растопырившимися в беге Сенькиными ушами: «А-а-а, — закричит мать, — душегубец, ворище, мать-то с потом закружила шесть-то копеек, а ты?! А-а-а!». И, наверное, не даст ужинать, а это плохо. Вот здорово—притти б домой к вечеру, мать кашу поливает подсолнечным маслом, а каша теплая...

Но ведь это все после будет?!

А пока Сенька вешает на двери избы замок и, положив ключик в прогнившую обочину, выходит на улицу. От солнца в глазах перекатываются шарики, такие крепкие, что даже колют немного. Шарики катятся и по улице, которая задохнулась жаром и лежит немая, упираясь хвостом в пустырь.

«Вот, — думает Сенька, — ежели бы достать шесть копеек, то все было бы очень даже прекрасно. Ежели бы обернуть такой фарт, то мать слова бы не сказала — получила бы свое и сиди».

Сенька идет серединой улицы. Пыль мягко ложится на шершавые ступни босых ног, а тонкие змейки ее заползают в ноздри и бегут, щекоча, до самого горла. На углу мальцы играют в пожар. Наберут в горсти дымчатой пыли этой, кинут и прыгают, расплываясь в сером облаке.

Когда-то и Сенька играл на улице с мальцами в пожар, но потом стал учиться, поступил в пионеры, а вожатый, тот, что похож на рыжую муху, сказал: — в пыль играть вредно, — и велел играть во «внимание». Посадит всех за столы:

— Кто за Сталина? — Вскинут руки.

— Кто за Чемберлена?

Кто позабудется, вскинет. — Весело сначала было, а потом все одно и одно... бросил отряд Сенька. Выпорхнул ветер из-за сруба слесаря Кондакова — поднял пыль—снова навернулась на Сеньку дума о шести копейках.

«Разве попробовать в карты выиграть? Так бы вот: приходит ему первой восьмерка, скажем. Она не очень запятнана крапом, всего восемь родинок; бывают такие тетки: бубновые, румяные, в пуховых платках и с родинками. Шикарные тетки! А потом валет, — чудесный парень! Мягкий колпак сдвинут на одно ухо, а в руках палка, серьезная палка, в роде той, что мать раскатывает тесто! А дальше?.. А дальше Голый спасает! Он солидный. С крестиком или сердцем по середине живота, или с хвостиком пикой, которая так и лезет в верх уколоть кого-нибудь, или с ласковой бубенкой»...

Его можно тянуть страшно долго, пока не посинеют пальцы и дыхание не станет тяжелым, как будто все медяки из банка

друг на друга уселись в горле. Но потом, когда покажется носик очка... О!..

«Надо выиграть, обязательно надо выиграть. И солнце-то сегодня особенно большое и мягкое и разливается теплынь по воздуху, по омертвелым, ленивым листьям...

А почему еще должен выиграть Сенька? Говорят, бог троицу любит, два раза в дым просадился — третьего не миновать, но ведь бог-то о-пиум! Ясно? — Ясно, должен выиграть. И Сенька шевелит пальцами в кармане, как будто перебирает тугие, скрипящие медяки.

У Сеньки давно уже болит голова, а слюна нехорошая, как жеванный войлок, чаще и чаще брызжет на порхающие карты. Перед Сенькой сидит Вася Свисток — жиган и хахаль. Папироска культурно свешена через губу, а на грязной шее — грязный шелковый шарфик. Вася нигде не учится и не работает, а целыми днями сидит у окна и разгадывает сложные ребусы, составляемые им самим из десяти пальцев и одной колоды засаленных карт. Васе 16 лет, но солидность в обращении отмечает солидный жизненный опыт.

— Вот, что, брат Семен!.. Обошел ты со всех сторон меня,— говорит он, — сел я с тобой играть, как с путным, а ты, оказывается. человека обойти хочешь... Ставь шанец шапку, это тебе не в казине!..

Нищие Сенькины руки мечутся в продранном кармане.

— Я, что ж, я поставлю, — вертит глазами Сенька, — только за один-то банк много целую шапку; давай за два?.. А?..

— Семен Ильич! — папироска летит в сторону, — игра серьезная! Без истерик все даже очень понятно — проиграли,— ставьте!

— На, сука, на!.. — кидает шапку Сенька, — давай, мать твою, карту... — а внутри: «ну, вот, на шапку последний, последненький банчек... взять бы и — шапка на голове. И матери шесть и себе осталось бы на ирисины. Ведь так хорошо, ведь так хочется!.. Ведь... Ну?..

— Ваша игра, извольте карточку!

Вася плавится улыбками.

— Кажется, восьмерка бубен? Чудесная игра... Даю вальта!.. Пожжалте! — А эту?!.. ага, потянуть!.. Будьте так добры... жду, жду!..

А Сеньку бьет, так бьет, что от зубов отскакивают искры и жгут побелевший язык: — «Только б туза, только б туза!..»— шепчет Сенька.

«Господи, ты не опиум, никогда ругать не буду, — беззвучно кричат приоткрытые Сенькины губы и каждый нерв подсадно кричит: — Туза, туза, туза!»

Но сбитый на ухо колпак второго валета выплывает из-за угла.

— Придется еще карточку, — мямлит Вася.—Пож-жалста!..

И снова сердце падает и оглушительно стучит в животе: девятку, девятку, девятку... Трясущиеся пальцы выдавливают тонкую полоску края. «Еще... ну, еще!»

Р-раз... и девятка осенним листом, мягко перевернувшись, падает к ногам игроков.

— Что ж? — Вася приподнимается, — с выигрышем вас, Семен Ильич!—А внутри: «Как же это? — вчера еще репетировал, за каждый раз перебор получался, а тут?..»

— Будет сара — всегда к вашим услугам. — И про себя: «Я еще подрежу тебя выпарень!»

А Сенька? — Сеньке теперь задрипаная улица — не мука глазам, а поле, широченное поле. И тянется оно чорт знает куда, под небом, тепло укрывающим его черепицей звезд...

У ворот Сенька встретил мать. Шла она маленькая, высушенная долгими годами на фабрике. Шла и думала о чем-то своем, скучном.

— Мам, а мам!

Сенька протянул руку с деньгами.

— На, вот, приказчик говорит, что ошибся, вместо двенадцати на шесть дал. Возьми, мам, мне не надо.

Но мать обернулась зло:

— Врешь, врешь, сукин сын, где деньги взял?.. Жрал ирис?!. Мать-то горбом деньги заколачивает, а ты?!. А-а-а!.

Сенька не мог сказать, откуда у него деньги. Ночью он всхлипывал в подушку рядом с устало спящей матерью. Сенька плакал и на рассвете, измятый нестерпимой жалостью к самому себе.

Заря снимала с неба черепицу звезд. В пионерском лагере, мягко потягиваясь, просыпался горнист. Он вышел из палатки, поднял выступающему солнцу горн и разлил звук красной меди.

———

О. ГРУЗДЕВА.

# ОШИБКА.

РАССКАЗ.

Таня работала на фабрике Феликса. Вечерами ее большие окна смеются иллюминацией огней и кажется, что туда сошлись тысячи рабочих справлять праздник.

Днем это пятиэтажное здание, пропуская через чугунные решетчатые ворота рабочих, обнажает большой залитый асфальтом двор, улыбнется широкими, наполовину стеклянными дверями, и нутром своих новых и крепких машин говорит о мощи трудовых рук, о побеждающей силе шумящих громадин.

Пять лет тому назад здесь стояли полуразрушенные деревянные дома. В голодные годы красовалось картофельное поле, потом свалка. А сейчас рядом с фабрикой вырос ровными двухэтажными зданиями рабочий поселок, кооператив, больница, и тысячами разнообразных звуков забилась жизнь пустыря.

Нынче не бегом, как всегда, а медленно, деловым шагом поднимается по лестнице Таня. Хочется ей быть посолиднее, но ноги плохо слушаются, так и хочется ей запрыгать по ступенькам.

— Что ты нынче павой плывешь, или так надо? — окрикнула, обгоняя ее, подруга Вера.

Таня откинула «солидность» и бросилась догонять подругу; на площадке обхватила ее за талию, перевернула несколько раз вокруг себя и быстро исчезла в следующем повороте лестницы. Своей «солидностью» Таня называла свое первое членство в фабкоме. Перед ней до сих пор еще ясно стоят в памяти—накуренный и наполненный рабочими большой зал клуба и слова подмастерья Панфилыча:

— Я Таню Першину знаю по своему комплекту, как одну из самых смекалистых работниц, а поэтому и предлагаю провести ее в фабком. От ее зоркости и преданности делу польза должна быть большая.

— Верно! — подхватило несколько голосов.

— Ай-да Панфилыч, за нашу сестру пошел! — крикнула работница.

— За такую пойдешь. Большой цены девка!..

И Таня почувствовала тогда, что от этих слов в ее груди разрастается что-то большое, крепнет ее тело и быстрее работает мысль.

* * *

Когда Дмитрий кончил читать «Цемент» Гладкова, облегченно вздохнул, хотел было потянуться, но потом подумал: «Чорт знает, на что похоже! Столько время не видеть мужа и по приезде его итти на собрание, оставив одного в комнате, в которой изо всех углов глядит неряшливость и запустение. Неужели эта работа способна свести все нежное до ничтожества?»

Этот вопрос для Дмитрия стал больным с тех пор, как он сошелся с Таней. Он привык к чистым занавескам, салфеткам, к обеду во-время, к нежному обращению матери. И ему показалась такой чуждой и нежеланной новая, выдвигаемая жизнью женщина.

Эта мысль неотступно продолжала мучить:

«А что, если Таня такая, она ведь комсомолка и вечно наполнена заботой о своей работе?»—«Мне так мало приходится бывать дома»...—вспоминает он ее слова и от них у него на душе становится холодно и неприятно.

Большими шагами Дмитрий меряет комнату, ему кажется, что от солнца она улыбается и белыми обоями. и блестящим буфетом, стульями, и суровыми наглаженными дорожками, устланными по полу. Сегодня, как никогда, тревожит его сердце тоска за будущее: «А что, если комсомол из Тани сделает черствую, холодную женщину, неспособную создать уют семейной жизни? — Женщина создана для уюта, иначе и быть не может». Вместе с этим ему невольно вспоминается Наташа Короваева, такая же чистая, красивая и даже, может быть, более желанная, чем Таня. В комнату вошла сестра.

— Ты здесь? А я думала, что тебя нет дома. Хочешь, покажу, как снялась я с Наташей?

Он обрадовался появлению сестры и с удовольствием согласился. В комнате сестры ему невольно бросилась в глаза причудливо убранная кровать, недорогие картины красиво изогнутых голых женщин, целующихся парочек и стоящие на комоде тонкие фарфоровые безделушки. В комнате пахло духами и пудрой. Он знал, что весь интерес жизни сестры—в этих вещах, в нарядных платьях, в заботе о красоте лица, о стройности тела. Ведь и Наташа такая, а вот Таня совсем не то! Неужели это лучше? Может быть и так—путался в мыслях Дмитрий.

— Что ты, как сыч, уставился на стены? Смотри!—и она протянула карточку, на которой в цветах и замысловатой позе сидели сестра и Наташа.

— Чему вы улыбаетесь?

— Вот чудак, с улыбкой лицо красивее...

— И только из-за этого?

— Да! А то как же?

— А знаешь,—переменила разговор сестра,—вчера Наташа долго сидела у меня и ей почему-то хотелось видеть тебя, но,

увы,—со вздохом продолжала она,—Таня заставляет тебя целыми часами ждать впустую, пока она на заседаниях да собраниях.

От того, что его ждала Наташа, ему стало легче, но слова, сказанные с иронией о Тане, подняли в его душе озлобление. Рядом с Наташей он поставил Таню, ее короткоподстриженные волосы с пышной прической искусных кудряшек Наташи.

— Не сравнивай. Твоя не лучше! — крикнула сестра.

Дмитрий смутился и, пытаясь скрыть промелькнувшее смущение, небрежно бросил:

— Хотя бы так...—хлопнул дверью и вышел из комнаты.

После этого Дмитрию казалось, что на его чувства к Тане кто-то посторонний наступил неуклюжими сапогами. Вечером при встрече с Таней это чувство еще больше заострилось и, видя ее беззаботность, ему нестерпимо захотелось передать его ей, как покаянное примирение.

— Пойдем завтра в театр.

— Не могу, у нас общее собрание.

— Собрание можно оставить—мировая революция от этого не погибнет.

— Мировое тут не при чем, я человек серых рабочих будней. Ты лучше приходи к нам после работы, узнаешь, чем интересуется наш коллектив.

— Итти без обеда не намерен.

— Ну, конечно, не мировая революция, а желудок от этого может пострадать...—насмешливо заговорила Таня и, подперев руками бока, громко рассмеялась.

Дмитрий молчал, кусая губы.

— Не сердись. Я думаю, чтобы сохранить голову, надо на время бросить так бережно заботиться о желудке, ты ведь все-таки знаешь, что этого настоящая жизнь требует.

— Здесь не трибуна, товарищ!..

Таня почувствовала, что с этими словами в ней поднимается злость на себя, злость на то, что она все-таки этого человека любит.

— Стыдно быть молодым с кругозором старика.

— Ты мне, пожалуйста, морали не читай, не глупее тебя.

— Я говорю не о глупости, а об отсталости.

Он стоял, отвернувшись, нервно хватаясь за ворот рубахи.

— Митя!..—после некоторой паузы проговорила она и взяла за руку.

— Уйди!—крикнул он и быстро выбежал из комнаты.

Таяла, удаляясь в летних сумерках, фигура Дмитрия, и ей казалось, что какая-то нить, зацепившаяся за него, тянувшаяся от ее сердца, причиняла ей боль. Он, не оглядываясь, завернул за угол, и Таня почувствовала, что эта нить оборвалась. Это была не первая ссора, и каждый раз после таких стычек у ней оставалось на душе неприятное чувство каких-то оборванных нитей.

Но на этот раз он вернулся; их примирение было только криком тела, оба они чувствовали, что нет сил остановить ласки, разбуженные властным призывом оттаявшей земли.

* * *

Через неделю, на просьбу притти к ней, Таня получила от Дмитрия ответ, что он занят, притти не может. В этот день она отдыхала, дома сидеть не захотелось и она пошла в клуб, прошла в маленькую комнату, где учились гримироваться артисты, нашла в свободном уголке место и задумалась: «Чем же он может быть занят?»

— Что ты задумалась, Таня? — проговорил, обхватив ее за плечи, секретарь ячейки Николай Бубенцов.

— Так, скучно что-то...—ответила торопливо Таня.

— Скучно... Скучно... Тогда поедем кататься на лодке...

— Что ты выдумал?

— Я над этим совсем не думал, сама говоришь, что тебе скучно, и мне не весело.

* * *

Впереди Бубенцова и Тани брала лодку другая пара. Таня на нее обратила внимание: спутница-соседка была очевидно чем-то недовольна, тихо ворчала, совсем недружелюбно поглядывала на своего спутника. Ей припомнился Дмитрий, такой же ворчливый за последнее время и от всего этого ей стало как-то неловко.

— Танюша, не кисни! Такой физиономией весь пейзаж испортишь,—пошутил Николай, подмигнув в сторону парочки. Таня улыбнулась и прыгнула в лодку. Лодка накренилась, зашаталась.

Упираясь ногами в дно, расстегивая ворот рубахи и проверив весла, Николай налег на них. Лодка, качнувшись, мягко поплыла.

— Разве спеть, с песней река шире становится.

Неожиданный знакомый смех девушки заставил Таню оглянуться: их старалась обогнать другая лодка, в лодке были Наташа и Дмитрий. И Таня в этом нашла причину, почему сегодня у Дмитрия не нашлось времени зайти к ней.

«Что же все это значит? Он с другой... а я? То же самое можешь сделать и ты»,—заговорил в ней внутренний ответный голос, но тут же она почувствовала на душе какую-то пустоту, словно после пожара родного гнезда.

— Стоит ли горевать, не к лучшему ли все это...—сказал Николай, увидев искаженное лицо Тани и улыбающегося Дмитрия с обогнавшей их лодки.

— К худшему это или к лучшему, я сейчас сказать не могу, но чувствую одно, что наша любовь хлюпает иногда, как разорванная калоша, и она вяжет бодрый шаг моей жизни.

— Странно чувствовать эту ненужность и жить не сбросив ее...

— Все кажется, что много странностей в чужой жизни, а в своей мы их не замечаем... Но, Николай, об этом говорить больше не будем—тяжело...

* * *

На следующий день вечером Таня решила с Дмитрием об'ясниться, выяснить неопределенность, так мучившую ее за последние дни.

На лавочке, у ворот квартиры Дмитрия, сидела сестра. Таня попросила ее вызвать брата, на что она согласилась, както неохотно.

Дмитрий не выходил долго. Тане казалось, что он этим как бы хотел заставить ее уйти.

— Я никак не ожидал, что ты придешь... Извини, что задержался, у меня сидит товарищ, оставить его одного неудобно, спасибо, выручила сестра.

Таня чувствовала, что он лжет, но ничего не сказала.

— Пойдем в сад, мне надо с тобой поговорить о многом.

Она заметила, что он от этого недовольно подернул плечами, но согласился.

— Ты, наверно, начнешь меня упрекать в холодности и невнимательности к тебе за последнее время? Я много думал над этим и решил, что мне с тобой не по дороге.

— И ты чувствуешь себя правым, кончаешь со мной так бесцеремонно, и после того, что между нами было?

Дмитрий смутился.

— Таня! — начал он ласково.

— Оставь медвяный тон. Ласки я у тебя не прошу. Да стоит ли разговаривать после этого?

И быстро, не дойдя до сада, стала переходить на другую сторону улицы.

— Таня!.. — крикнул он. Но она, не оглядываясь, продолжала итти.

Такого конца он не ожидал, он думал, что будут слезы и, почем знать, что было бы после их.

* * *

После разрыва мысль о Дмитрие перестала мучить Таню. И может быть, оттого, что все ее существо было заполнено думой о будущем ребенке. Если дать ребенку жизнь, значит, этой первой ошибкой связать жизнь и с Дмитрием, цепь старой связи останется. Это значит—мучить себя и ребенка, но ради кого? Этого быть не должно, говорил рассудок, а где-то в глубине души рыдала жалость к ребенку, хотелось, чтобы он, пухленький, увидел свет. Ей представлялось, как в улыбке, в глазах и движениях, она будет повторяться и сама.

* * *

Тянулись дни, раненой птицей у станка билась Таня. Ей не хотелось сознаться в своей грубой ошибке, но с каждым днем чувствовала, что надвигается что-то непоправимое, чего нельзя будет скрыть.

* * *

На приеме пожилой врач в белом халате, с белыми волосами, с бесцветными глазами и с такой же бесцветной улыбкой, качая головой, сердито ее спрашивал:

— А отчего это у тебя получилось? Скажи, к кому ходила?

Таня оробела, но не сдавалась, молчала, а врач не унимался.

— Такой молодой и рисковать своим здоровьем непростительно... Вам придется остаться в больнице, дело у вас серьезное.

Тане показалось, что он мягко, по-отечески, взглянул на нее, ей за свое молчание сделалось стыдно и она заплакала.

— Чего же вы напугались?.. Дело еще поправимо...

* * *

Вот уже около месяца Таня лежала в больнице. Дни, как выцветшие плакаты, раздражали ее своей однотонностью. Таня узнала от врача, что у ней после болезни детей никогда не будет и вся будущая жизнь ей представилась однообразной пустыней.

Сегодня, как всегда, температура к вечеру скакнула и всю ночь Таня пробредила, только под утро заснула. Во сне она видела залитую солнцем и усеянную множеством цветов лесную полянку и, странно: все цветы глядели, улыбаясь ей детскими личиками, ей казалось, что из одного венчика ромашки смеется ее дочурка и тянется. Таня хотела поцеловать это дорогое личико, но подбежали другие дети—цветы и закружили дочурку в хороводе детских игр.

Когда Таня проснулась, то долго недоумевающими глазами она шарила по белым стенам палаты, чувствуя, что от дум и от болезни, как вода из прорвавшей плотины, уходят ее силы, ослабляя и опустошая тело.

Прошла еще неделя. Обход больных делал врач Салтыков, которого за бронзовый цвет кожи, за курчавые волосы прозвали «негром».

По обыкновению он вошел в палату быстрыми шагами.

— Здесь, кажется, стало лучше, но все-таки положить лед еще раз придется.

Таня опять почувствовала неприятное ощущение холода.

— Не надо! мне и так хорошо...—тихо проговорила Таня.

— Слышите?..—обратился он к акушерке.—На этой койке опять «профессор» лежит. До вас тут была другая... той чего бывало не назначишь — все не надо. И вы за то же...—улыбаясь проговорил доктор.

И от этой неожиданной шутки Тане сделалось как-то легко.

* * *

По выходе из больницы, на другой день, она не утерпела. Ее потянуло в ячейку. Дорогой, более других, ее мучил вопрос: как-то ее встретят товарищи.

При входе в клуб ею овладела робость, сделалось стыдно за себя.

— Таня, наконец-то!.. — встретил радостно Николай.—Как раз ты нам нужна, мы наклеиваем стенную газету, за тебя в это время редактором был я. Пойдем, посмотри наши труды.

«Знают они или нет, что я лежала в больнице от подпольного аборта?»

В ней на минуту заговорило смущение.

В небольшой комнате, где помещалось бюро ячейки, работали трое. Один рисовал на отдельных листках карикатуры, двое возились с наклейкой. В комнате было накурено.

— Как у вас чадно!..—сказала она.

— Да уж, ребята, кончайте!..— скомандовал Николай и полез открывать форточку.

Таня отметила про себя, что Костя бросил недокуренную папиросу.

— Все по-старому...—и она облегченно вздохнула. И в этих стенах в ней опять властно поднималась жажда работы.

* * *

В один из осенних вечеров, когда вместе с дождем настойчиво перебирает тоска прошлое, когда душно становиться от слезящегося неба и от тоски, рожденной умирающей природой, Дмитрий, копаясь в книгах, нашел в одной из них забытое им письмо Тани. В письме он нашел не только забытое, но и родное, и осени как не бывало. Ему казалось, что комната его наполнилась запахом освеженных дождем тополей. Он вспомнил последнюю размолвку с Таней на пути к саду, когда ему казалось, что она из его жизни ушла навсегда, а сейчас ему и приятно и досадно, что она им снова овладела.

— Таня!.. Танюша!..—Он шепчет и жадно прислушивается к своему шопоту, а из письма отдельные строки кричат о большой душе девушки.

«Как же все это случилось»?..—задал он себе вопрос и в раздумьи об этом начал большими шагами мерять уже надоевшую Наташину комнату. Ему кажется, что ее белые обои, отлакированный до блеска буфет и наглаженные дорожки вызывающе над ним смеются:

— Здесь хозяева мы, а не ты!..

— Нет!.. Я —хозяин.

— Нет—мы!..—твердят, не уступая, вещи...

— Я!.. А Тани все-таки нет. Да! Нет...—И эта мысль его больно ужалила.

* * *

Дмитрию всю ночь не спалось, на утро плохо работал. После смены, прождав около двух часов, он дождался Тани.

— Таня, я хочу сказать,—начал было он.

— Зачем?—перебила Таня.

— Я ошибся... Давай об этом поговорим просто, по-человечески.

Таня молча смотрела на сшитую из серого солдатского сукна куртку Дмитрия, на измазанные машинным маслом руки и на большие угли-глаза, которые сегодня глядели виновато и просили ее о чем-то большом.

— Знаешь, есть ошибки, после которых говорить по-человечески нельзя, они достаются слишком дорогой ценой... Счетов на них пред'явить нельзя.

При воспоминании об этом Тане показалось, что за спиной Дмитрия стоит такая же пустота жизни, которая недавно ее пугала в больнице. И, как бы торопясь отогнать ее, она быстро пошла вперед, а у Дмитрия догонять ее ноги отказывались.

Он чувствовал на них сильную тяжесть.

*МИХАИЛ ЛУКЬЯНОВ.*

# ДВА ДНЯ.

Это, вероятно, очерк. Во всяком случае, здесь идет речь о фактах,—пусть „поэтизированных". Задачей было: столкнуть лицом к лицу два дня в рабочем городе—Вчера и Сегодня, подчеркнув Настоящее—Прошлым. Все дело тут именно в механическом сопоставлении. Выводы дело желающих. Впрочем, вряд ли выводы могут быть различными.

Склонных к скептицизму должен предупредить: Вчерашний день Иваново-Вознесенска был именно таким. Памятники Прошлого („живые и „мертвые") изучены тщательно. И работали при 45 градусах жары; и спали, голодные, грязные, вповалку; и братская могила—все это верно. Ни слова не приписано и к Сегодняшнему Дню: все, о чем здесь написано—существует. И даже такая фабрика есть, где в первом этаже, в столовой—хризантемы.

Собственные имена—за исключением фамилий рабочих—подлинные.

Автор.

## I. ДЕТИ У ПАМЯТНИКА.

Что такое Настоящее? Еще вчера оно было Будущим, но уже завтра станет Прошлым. Но и прошлое, и будущее мы умеем видеть ярче, чем сегодняшний день. Прошлое встает в воспоминаниях. Будущее—в надеждах. Кто в праве сказать, что он до конца постиг настоящее, что он отдал полную дань сегодняшнему дню?..

Под балконом Дворца Труда играли двое детей, девочка и мальчик. Мальчику было лет пять, и девочке, вероятно, не больше. Дети прятались друг от друга за гранями постамента; вот, девочка осторожно высовывает голову слева—а мальчик справа—и площадь взрывается их восторженным смехом. Дети думают, что им просто весело, и не знают, что они счастливее всех. Они, вообще, многого еще не знают. Им непонятно, почему неподвижен этот бронзовый дядя там, наверху, на постаменте. Им неведомо значение красных полотнищ с белыми, большими буквами (полотнища прибивают к дому дяди на высоких лестницах). Непонятна цифра „XII" потому, что считать они умеют только до десяти, а читать вообще еще не умеют.

Дети вырастут и все это узнают. Но наше Сегодня станет для них далеким прошлым. И вновь, для себя, узнавая об этих вот днях, которыми мы дышим—они подчас будут жалеть нас, порой недоумевать, и—наверное—восхищаться.

Среди кино-фильм зимнего сезона шла интереснейшая: „Обломок империи". Пусть в ней много недоделанного, конец ее кургуз (это—область рецензии), но замысел вещи—поражает. Мимо солдата с помраченным—контузией—рассудком проходит конец мировой бойни. Октябрь, гражданская война. Он приходит в себя лишь теперь, в дни мирных трудовых сражений. В Ленинграде он не может узнать прежнего Петербурга. На фабрике он спрашивает, где можно видеть... господина Фабкома. Потом, уже работая, Филимонов (так зовут перешагнувшего через годы) видит, как его товарищ, получивший замечание за пьянку в цеху, хочет ударить техника.

С негодующей горечью, с гневом изумления Филимонов хватает рабочего за руку: „И ты... ты... хозяин?!.. Сволочь ты, а не хозяин!!!“

Понимаете ли вы, чем был в жизни Филимонова день, в который он впервые узнал, что именно произошло в стране? Где в нашем языке имена чувств, зажегших человека, только что, вот сейчас, впервые—понявшего, что в России нет городовых, что на фабриках нет фабрикантов, что смеются над словом: „барин“?...

Нам теперь этого не понять. Таковы законы психологии,—ведь мы же просто люди. Паутина повседневности застилает взор. Кто из нас имеет время, и волю, и возможность задуматься: а что именно—сегодня—вокруг нас,—переживающих, делающих, спешащих? „Машина времени“, конечно, только фантастика. Но если бы!

Если бы ..

## II. СОН ФЕДОРА КРУТИНА.

Четвертый час утра. Осень. Иваново-Вознесенск. Но в этом городе, как это не дико, нет ни одного автобуса; ни одной водопроводной колонки; нет Первого Рабочего Поселка, туберкулезного диспансера, центральных бань, фабрики-кухни; нет на свете Ивановского ЕПО, горсовета, нет фабрик: „Красной Талки“, „Дзержинки“, „Меланжевого Комбината“. Вместо широкого Сосневского поселка нахохлился над речкой Уводью мокрый лес. Холодно сейчас в лесу, темно... Да и в городе не лучше.

Мир еще не знает, что в одно из августовских чисел начнется всесветный пир смертей, который обольет землю слезами и кровью, взроет ее миллионами могил. Миру не разглядеть в тумане будущего, как в столице большой, полудикой страны на дворец ее императоров уставится жерлами пушек крейсер „Аврора“. О студенте Владимире Ульянове мало кто знает в России.

Умерла спичка, и родилось чадящее пламя коптилки. Да, Федор Крутин проснулся раньше всех. Пора! Федор будит лежащих на полу, вповалку, мужчин, женщин и детей. Встают, кашляя, почесываясь, трут слипшиеся глаза. Плотный воздух—облаком зловонного пара.

Пора! В худых сапогах беззащитны ноги Федора от глубоких уличных луж, от холодной, глинистой грязи. Из встречной тьмы колется острый ветер, дрожь заставляет глубже прятать голову в воротник куртки, измызганной, как вся жизнь. От Рылихи до Дербеневской фабрики не близко. Переулки и улицы выплескивают все новых и новых людей, молчаливо-спешащих. Желтыми глазами окон светится фабрика, попыхивает дымом. Так было и двадцать лет назад, когда Федю Крутина впервые привела на фабрику мать. Шипели над головой, перекрещиваясь, мокрые жгуты товара, брызгая чем-то вонючим. В этом полумраке от смрада кислот было трудно дышать, слезились глаза. Провели Федю темными проходами меж чанов и машин, по мокрому, грязному полу, в угол, где сразу прилила к голове кровь. „Сушилка“,—сказали ему: —„тут будешь работать“. Федя не знал, что такое вентилятор, и поэтому не удивился его отсутствию. Он никогда не видел термометра, поэтому не знал, что в сушилке 45 градусов жары. В первый же день Федя испортил товар кровью, брызнувшей из носу. Тогда Федю оштрафовали.

Потом Крутин привык. Теперь он зарабатывает восемнадцать рублей. Мука и сапоги год-от-году дорожают, но приспособиться можно ко всему, и Крутин иногда ест даже мясо. Сейчас ему легче: на Фоминой умерла больная жена, а девочку взяла тетка в деревню,—подрастет еще малость, будет батрачить.

Из портянок можно бы, кажется, выжать не один ковш воды! Ничего, здесь-то высохнут!.. Крутин разувается, засучивает штаны. Работа началась. Ему надо лезть на дно большого ящика, укладывать товар, который будет облит кислотой. Запах кислот и хлора никогда не выветривается из одежды. По утрам Федору кажется, что и лицо споласкивает он—наспех—не водой, а мутно-зеленой едкой жидкостью. Но это пустяки. Его товарищ,

Кузьма Шакшин, тратит много денег на лук: „возьму", говорит, „луковицу в рот—так она вся, проклятущая, почернеет. Ну однако, се ж таки не в нутре испарение-то оседает, а на луковице. Се-таки польза!" Кузьма работает на черном анилине, и луковица чернеет от анилиновых паров.

Солнце давно уже выплыло из-за густого Витовского бора, нехотя проползло к Воробьеву и ушло в серые тучи. Теперь оно где-нибудь над Курьяновым, и скоро ляжет спать. Пять часов. Крутин, Шакшин, как и все другие с ситцевой, идут домой. Обед их нынче был из чая с хлебом, но есть что-то не хочется.

—Слушь-ко, Федь!..—с усталой нерешительностью предлагает Шакшин:—зайдем-ка... знаешь... на Ямы! А?..

—На Ямы?.. Что ж!.. Мне-ка, мол, все равно. И то зайдем, чего мы дома-то не нюхали?!.

Тяжелые, в многогранных подвесках, висячие лампы и люстры загораются над чайными сервизами на Дмитровской, в доме Зубкова; в Маракушевском золоченом дворце; у Гандуриных, Гарелиных, Дербеневых... Синие сумерки кутают город, важные фабрикантские дома стоят, словно короли-подсолнухи на грядах, а вокруг-то, под ними—все мелюзга, слепенькие домишки с железными, кое-как пристряпанными трубами, а то и с бревнами-подпорками. Так на каждой улице. И над городом высятся синие и золотые главы церквей, берегут-охраняют, белеют колокольнями.

В каморке на Рылихе, откуда утром спешил Крутин на фабрику, тоже зажглась лампа, коптилка-пятилинейка. Часики-ходики надоедливо шмыгают тусклым маятником. Пришедшие со смены укладываются на полу спать, встряхивают подстилки. Федора с Кузьмой нет, значит, они сегодня „загостились". Что ж—кроме, как на Ямы, и пойти ведь некуда...

А на Ямах, давно уж, без умолку бормочет неладное гармошка,—гармонист „малость переложил". Народу у Яшки-Хромого набилось порядком. Кузя Шакшин, как был с фабрики, неумыт, машет рукой и, никого не видя, горланит:

Пуща-ай моги-и-ила... меня нака-а-ажет...
За то, что я-а-а ев-во л...лю-у-блю...

А Крутин приткнулся у окна, свалил голову на подоконник и спит. Ему снится, что в Багановом-Овраге он нашел много денег, все крупные бумажки—пятерки да десятки, и на фабрику больше итти не надо. И он, будто бы, купил много-много жареной печонки, с'ел, потом лег, не раздеваясь, у себя в каморке, и спит. Все ушли на работу, а он все спит на просторе, спит, спит... Так, даже во сне, чудится захмелевшему Федору, что наконец-то он может всласть отдохнуть. Но и во сне пахнет едучим и горьким запахом фабрики, и во сне стучит кровь во вспотевшие—от духоты—виски.

Сердечки в ставнях бросают на улицу бледные лучики света. Темно. Громыхают мрачные корпуса, глаза фабричных окон в темноте совсем покраснели. Федор Крутин, не открывая глаз, стонет и кашляет.

## III. ХРИЗАНТЕМЫ ЦВЕТУТ.

Конец второй смены. По мелко-зернистым ступенькам широкой лестницы стучат каблуки туфель и ботинок. Лена Филенкова—ленточница. Сейчас полдень Лена спешит, но не домой, в свою 17-ю квартиру стоквартирного дома—красавца: домой некогда, у Лены еще столько дел!.. Во-первых, сейчас цехбюро. Потом надо: зайти в Пролеткульт, узнать, когда в драмкружке репетиция. В Вечерний Университет,—справиться насчет начала занятий. Да, не забыть бы: обязательно сегодня с'ездить в редакцию, отдать заметку: пусть к годовщине напечатают, что вторая смена постановила—все ленточные машины считать ударными. Ну, это-то она не забудет—сама писала!..

Только вот поесть надо. В Нарпите, конечно, у столиков очередь,—вторую фабрику-кухню еще только наметили строить!.. Лена спускается

вниз, где узорные плиточные ковры разбегаются под белыми лапами колонн. На минутку она забегает в большое, отгороженное полустеклянными переборками, помещение с надписью „Фабком", потом стучит каблучками дальше, к двери, за которой звенит посуда.

— А ведь тесно, все-таки!..—в который уж раз думает Лена, входя в зал фабричной столовой:—„на триста человек только,—чего уж тут!.." Под стеклом прилавочных шкафчиков освещены электролампочками холодные порции: рыба, винегрет, ветчина, заманчиво разложены коврижки, булочки, пряники... Но Лене нужно что-нибудь посущественней. Кассирша звякает аппаратом „Националь" и дает Лене чек на 40 копеек,—мясной обед из двух блюд. Осенний, бессолнечный свет мягко льется в окна, похожие на гигантские двери. Маленькие и длинные столы,—все одинаковые, серомраморные. И на всех столах—хризантемы. Вся столовая в хризантемах. Больше всего белых,—но есть горшочки и с желтыми. К Лене подходит банкаброшница Дуся Хоменчук, полногрудая, бойкая Ленина подруга, с бутылочкой „лимонной".

— Дусь, глянь-ка: все в цвету, как есть, все!..—показывает Лена на ближний горшочек:—октябрь, а им хоть бы хны, цветут во-всю!..—Лена любовным и долгим взглядом ласкает изумительно-белую нежность цветов, темную зелень лапчатых листиков: если потереть листик, он пахнет камфорой.

— Чего ж им не цвести? У нас-то?.. Тепло—теплей и быть не может; свету, сколько надо,- вот и цветут!., Да—вот что, Лен: ты слышала —не будет в Ленинград экскурсии!..

— Как не будет? Что это? Вре-ошь?—Лена перестает жевать кусок „гуляша".

— Очень просто, сейчас мне Качурин сказал: из профсовета сегодня звонили. Очень, говорят, много записалось, ну, вот нам и отказали, потому недавно от нас ездили...

— Ах ты!.. Ну-ну... А я-то гадала с'ездить,—мне больше всего Петропавловку поглядеть хотелось!.. — грустит Лена.

Подруги расстаются: Дуся — домой. Навстречу ей, в выходных дверях, попадается группа мужчин и женщин, говорящих не по-нашему С ними—предфабкома и трестовский инженер. „Английские текстильщики", — кивает Лене Вася Качурин, предфабкома.

— Ит из файн, вэри найс!!! *) — восторгаются англичане еще в дверях. Еще больше поражает их столовая:

— Люк, люк, — флаурс!!! Флаурс ин фактори!.. **)

Сюда, вниз, смутно доносится шум машин. Английских товарище ведут наверх, и при входе в рабочий зал они невольно останавливаются Стерта грань между окнами и стенами: только узкие белые простенки разделяют владения стекла. Какими же, значит, потоками льется сюда солнце!.. Но иногда нужно загородиться и от солнца, чтоб не слепило глаза. Для этого — большие шторы, опускаемые на блоках. Воздух тепел и чист. На полу не видно пылинки. А ведь здесь же стоят и трепальные машины, похожие на маленькие, приученные танки!..

Нервно визжат металлическим визгом банкаброши. Но движения работниц с виду неторопливы, размеренно-спокойны. Снежными, ватными змеями вьется пушистая лента. Ровными рядами уходят в бесконечность зала машины, а высоко над потолком такими же ровными шеренгами — матовые колпаки ламп. По вечерам на смену дневному солнцу приходят электрические.

— Приточно-вытяжная... о, нет, только 7 часов!.. да, у нас есть ясли... нет, сейчас пользуемся клубом вместе с другой фабрикой, но будем строить свой!.. — еле успевает отвечать Вася Качурин на вопросы, через инженера-переводчика.

---

*) Английское: „это прекрасно, очень красиво!!!"

**) Английское: „смотрите, смотрите, — цветы!!! Цветы в фабрике!.."

Дуся Хоменчук давно уже сидит в автобусе седьмой линии, едет домой. У Рабочего Университета ее обгоняет легковой автомобиль с англичанами. Они пробудут здесь недолго, а показывают им столько, — столько! — что они еле успевают расспрашивать, записывать, запоминать.

Сейчас им покажут туберкулезный диспансер, потом — стройку Политехнического Института. Утром они видели большой рабочий поселок из термолитовых домиков, напомнивших им швейцарские шалэ. В поселке у иваново... иваново-воз-не-сенских (трудное слово!) товарищей — водопровод, электричество, своя амбулатория, магазины, кино... Гости заходили в рабочие квартиры, радио-рупоры приветливо раскрывали лакированные рты... — А это дом на четыреста квартир, — об'ясняли англичанам: — тут будет свой детский сад, столовая...

В одной из беленьких, как свежая наволочка, квартир пожилая работница с гордостью показывала очень обыкновенные вещи: ручку, тетрадь, книжку. Потом подарила неровно-оторванный листок, где стояло:

„Английским товарищам. На паметь. Как я сарока лет научилась писать. И читать. Ткачиха Бычкова. И жилаю вам дорогие тоже у себя поскорей."

Из тубдиспансера автомобиль везет гостей снова к пальмам фабрики-кухни, обедать. Потом они едут в музей.

Опять, — как сорок, как двадцать, как д в е н а д ц а т ь лет назад — садится солнце за Курьяновым, заря медленно роняет перья на Уводскую долину, на село Авдотьино. У Красного Моста синие тени кутают братскую могилу. Могиле — только четырнадцать лет, в могиле тридцать человек. Их зарыли 10 августа 1915 года, тридцать человек, убитых за просьбу: дать хлеба и освободить арестованных товарищей. Одного из убитых звали: Федор Крутин. Красный Мост тогда назывался: Приказным.

Шесть часов. Дочь Федора Крутина, комсомолка Вера, поднимается на третий этаж. Отпирает дверь, щелкает выключателем. С собой принесла она: на щеках — свежесть студеного вечера, в руках — пачку печенья и книжку из библиотеки, Ивана Катаева: „Сердце". Читает долго, до тех пор, пока кто-то из угла не бросит в молчание хрипло:

— Алло... алло... говорит станция... сегодня мы передаем...

---

# СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ.

(ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ГРАВЕРА).

Одни говорили: „Какой он смешной", другие: „Какой он сердитый". У него была огненная, лохматая голова, борода всегда торчала клочками, а из-под кустистых бровей серые глаза смотрели презрительно.

Молескиновая блуза, пропахшая скипидаром, торчала на нем, как на чучеле.

Детей не было. Вместо них он всю жизнь с женой—Васеной выводил цыплят.

Начнет работать—кряхтит, пыхтит, но самые мелкие узоры и тени рисунка из-под багровых рук гравера Канашкина выходили четкими и мастерски изящными.

Мастерская помещалась во втором этаже фабричного корпуса.

Понедельник. В мастерской большинство спохмелья, следят за мастером распорядителем, как он на длинных ногах ходит между молетирных и типографских машин, скрябая по асфальту порыжевшими кожаными галошами. Канашкин дремлет, а ученик Степка протянул руку под верстак, дергает его за блузу и шепчет: „Мастер сзади... мастер..."

Огненная голова все ниже склоняется. Когда она сделала сильный кивок вниз, потревожила стойку с лупой, и грабштихель выпал из багровой пятерки на верстак,—мастер заметил.

— Ты пьян?—спросил он, ткнув нежно пальцем в плечо Канашкина.

Канашкин встрепенулся и, не разбирая, кто его спрашивает, усердно завертел молет в станке, потирая тряпкой награвированные узоры.

— Я говорю—ты пьян?

— Нет, извините... бабушку вчера хоронил, немного голова болит,—ответил Канашкин, вскочил с табуретки и сделал руки по швам.

— Каждый месяц помирает у тебя бабушка! Сколько их у тебя? Вон!..—закричал мастер и торопливо ушел в свою каморку-кабинет.

Хлопнула сердито дверь каморки, мастер в картузе, пальто в накидку, направился к лестнице и ушел. Ему уже давно надо было итти по делу, но не хотелось оставлять слежку.

У лестницы появился доброволец „сторож". Он следит, когда дверь внизу, у входа на лестницу, растворится, появятся рыжие галоши, значит, мастер идет—и он машет рукой— такой сигнал. Все бросили работу, закурили. Канашкин достал из ящика зеленый стаканчик.

— Ванька-встанька, ну, как твое здоровье?..—шепчет он и ставит стаканчик на донышко. Поиграл им, вытащил из кармана пузырек из-под больничной микстуры, налил из него в стаканчик вина, понюхал, потом обмакнул палец и ткнул им в язык.

— Предварительно это, Степа... Хе-хе-хе!..—говорит, улыбаясь.—Ну, будь здоров!.

— Брр... Смачно!...—шаркнул рукавом по усам, бросил в рот пахучую ландринину.

Около Канашкина собираются приятели, и он начинает „представлять":

— Ой-ой-ой! Какое горюшко у меня...—завел он плаксиво, вынул из кармана мертвого цыпленка и положил его на чайное блюдечко. При-

жимает кулак к глазам, охает и стонет над цыпленком,—даже слезинки в серых глазах.

— Степа, не доглядел, мать ногой зашибла... не дышит...—приговаривает, а огненные кустики бровей шевелятся, жесткие пальцы мнут пушек цыпленка.

— Дитятко стоеросовое! Ха-ха-ха!..—засмеялись приятели.

— Канашкин, брось в ребятишки играть! Поделись похмелять?.. Ох, все равно нехорошо-то!—и с легкостью балетной танцовщицы, староста по могарычам, седой, как лунь, пантографщик Савельич, сделал круг, припевая слабеньким тенорком:

Ах, вы, Сашки, канашки мои,
Разменяйте-ко бумажки мои...

Савельич уже опохмелился. Очки на кончике носа, лысая макушка головы ярко розовеет.

Ларька, точильщик молотов, он бывает после каждых могарычей с синяками под глазами, старается привязать ноги Канашкина к табуретке, а к блузе хвост из тряпок. Канашкин чувствует „эту работу", но не показывает виду, а шепчет над цыпленком:

— Пиголка ты моя... бойконький какой был...

— Мастер...—прошипело, и все бросились к местам.

„Сторож" проглядел. Мастер уже пол-лестницы прошел, смотрит из-за перил, как все разбегаются и оставляют Канашкина с привязанным хвостом к блузе.

— Всем по рублю!.. Скоты...— прохрипел мастер и подбежал к Канашкину.

— Ты, что еще здесь? Вон!—и, отойдя от него, сызова подбежал:

— Расчет.

— Я не пья-ны-ы-ый...—протестовал Канашкин тоненьким жалостливым, притворным голоском и багровым кулаком начал тыкать глаза, почесывая другой рукой затылок.

— Расчет! Иван, сходи к воротам, за татарином. Вывести!—закричал мастер вертельщику у машины и заскрябал в каморку.

Канашкин изменил свой вид, расставил в стороны ноги и уже сердито заорал вслед мастеру:

— Упадешь!.. Журавль долгоногий... Кнут хозяйский!..

Завернул цыпленка в бумажку, допил последки вина из „Ваньки-встаньки" и запел тоненько, с хрипотцой:

Погиб я, мальчишка, погиб навсегда...

— Прощай, Степа! Расчет отдают...—и, махнув рукой на каморку, ушел.

* * *

В один зимний праздничный день Канашкин купил четверть вина. Привязал к горлышку аршина в два веревку—и давай четверть возить по снегу, приговаривая:

— Ох-ох!.. Силушки нет...

Остановится, вынет белую фабричную тряпку из кармана и начнет фыркая, утирать лицо, на котором ни потинки, и смотрит зверем на шествующих за ним уличных ребят и улыбающихся прохожих. Повезет опять четверть, упираясь ногами в снег, как бурлак тянет за бичевку баржу.

У него имелась белая коломенковая пара, сшил он ее себе, когда женился.

В день коронации Николая надел он ее, выстиранную и выглаженную Васеной, и пошел в трактира. У трактира была большая лужа, редко просыхающая. Посидел за столиком, выпил. Вышел на крыльцо, посмотрел на лужу и, подойдя к ней, закричал:

— Сюда! Сюда!.. Скорей! Скорей!..

Сбежалось много ребят, прохожие остановились.

— Господи благослови!—сказал, крестясь, Канашкин и бросился в лужу, как купальщик в реку. Лежит в ней на спине, приподняв голову, и бьет ногами по воде, вонючей, зеленоватой.

— Чорт! Дьявол!..—заругались близко стоявшие к луже, забрызганные грязью.

— Го-го-го! Купается...—гикают мальчишки.

— У-то-па-ю-ю, по-мо-ги-те-е!—кричит Канашкин, барахтаясь и хлопая ногами по луже.

Вышел из лужи, направился домой и все приговаривает:

— Утоп, утоп было...—а ребятишки вслед за ним все больше и больше; провожали до самой квартиры.

— Что с тобой?—встретила его Васена, растворив калитку ворот.

— Ну, что—царь коронуется, а я топиться хотел, да не утонул,—ответил Канашкин. А у самого ни смешинки в лице.

*Иваново-Вознесенск.*

---

*В. ЗАЛЕССКИЙ.*

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ.

## НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ.

### (О ТВОРЧЕСКОМ ЛИЦЕ АПП—ИПО).

Ассоциация пролетарских писателей Ивановской промышленной области существует всего лишь второй год. Время ее возникновения—первое областное совещание трех губернских ассоциаций: Ивановской, Владимирской и Ярославской, созванное в апреле 1929 года, по инициативе Иванова.

За год слишком работы АПП ИПО создала новую ассоциацию в Костроме, литгруппу в Кинешме, заново восстановила Владимирскую АПП, организовала ряд районных литкружков и связалась с ранее существовавшими. Зимой работало 6 литгрупп и свыше 40 кружков, из них более 25 на предприятиях. Сейчас в рядах АПП ИПО 120 членов; число литкружковцев, об'единяемых АПП. не менее 500.

Издается областной альманах (4 раза в год по 10 печ. листов), несколько литстраниц в областной и окружной печати и, наконец. отдельные окружные ассоциации и группы издают свои альманахи: („Рост",—Ярославль, „Взлет"—Владимир, „Взмах"—Кинешма); готовится альманах в Костроме.

При АПП ИПО работает литконсультация, с каждым месяцем расширяющая круг своих корреспондентов. АПП ИПО связано в своей работе с о-вом воинствующих материалистов-диалектиков, с которым ведет пропагандистско-научную работу.

Массовая работа АПП ИПО заключается в обслуживании широкой рабочей аудитории (лит. вечера, выхода в раб. казарму, выступления в цехах), в участии в боевых кампаниях партии (см. сборник „Шестнадцатому"). В настоящее время все внимание перенесено на перестройку рядов, на орабочение организации, на большевизацию творчества.

С помощью нашей общественности эти задачи мы разрешим.

Но цель настоящей статьи не подведение организационных достижений и недостатков (которых у нас не мало), а некоторые творческие итоги нашей ассоциации в свете тех задач, которые в настоящее время стоят перед пролетарской литературой.

* * *

Основная линия развития пролетарской литературы—реалистический показ действительности во всем ее многообразии; метод этого показа—метод диалектического материализма.

По этой линии шло и идет развитие таких пролетарских писателей, как А. Фадеев, Панферов, Платошкин, Шведов, Шолохов, Ставский, Горбунов, Овалов и др.

Однако, эта линия творческого роста пролетлитературы встречала и встречает, (а за последнее время особенно) резкую критику.

Читателю не безынтересно узнать, за что же так свирепо „кроют" реалистический показ действительности.

Вначале условимся, что мы подразумеваем под реалистическим показом действительности. Воспользуемся только одной цитатой пока „неопровергнутого" Г. В. Плеханова.

„Художественная литература,—пишет Плеханов,—имеет своей преимущественной темой эмоциальную жизнь человека и коллектива, выявляет свое отношение к общему, и большей частью, на очень „частных примерах".

И дальше:

„Художник должен индивидуализировать то общее, что составляет содержание его произведения. А раз мы имеет дело с индивидуумом, то перед нами являются известные психологические процессы, а тут уже не только совершенно уместен, но и вполне обязателен и даже чрезвычайно поучителен психологический анализ." (Плеханов, том X, стр. 190).

Таким образом, мы ясно видим из указания Плеханова, что „преимущественной темой художественной литературы является: 1) эмоциональная жизнь человека и коллектива", 2) что художник должен индивидуализировать то общее, что составляет содержание его произведения, 3) что психологический анализ не только уместен, „но и вполне обязателен".

Понятно, психологический анализ для нас важен не как самоцель, а только как средство к пониманию всего многообразия жизни, классового бытия, как отдельного человека („героя"), так и целого коллектива, ибо тот же Плеханов заявлял: „Психология действующих лиц потому и приобретает в наших глазах огромную важность, что она есть психология целых общественных классов, или по крайней мере слоев, и что следовательно процессы, происходящие в душе отдельных лиц, являются отражением исторического движения".

Как будто все ясно! Никакой „мистики"! Никакой чертовщины!

Но... противники реалистического показа с упрямством известного животного задают вопросы—„а живой человек", „а учеба у классиков" и еще тридцать „а".

Реалистический показ требует от автора, чтобы из-под его пера выходили не схемы, не штампы, а живые люди. А раз живые люди, то здесь неизбежна и психология.

Правда, лефы полагали, что люди будущего должны быть апсихологичны, но на то они и лефы.

Когда художники пролетлитературы показывают конкретный человеческий материал в процессе его становления, развития, борьбы, то этот материал только тогда оживет, когда он будет индивидуализирован, когда он приобретает свойства „живого человека."

Понятно здесь появится и психологизм.

Но мы не боимся ни психологизма, ни реализма, ни учебы у классиков. Ведь это не цель, а средство; средство роста, средство создания новой литературы.

И „живой человек", и „психологизм", и „реализм"—это только вспомогательные средства в создании пролетарской литературы.

Но все-таки и за эти вспомогательные средства мы будем вести борьбу.

Когда мы говорим—реалистический показ действительности, то делаем это совершенно сознательно, в отличие от романтического и натуралистического показа.

Мы против романтизма, потому что последний искажает действительность, не дает правильной перспективы, показывает людей не такими, какие они есть, а такими, как их хотел бы видеть автор; наконец, потому, что он мистифицирует действительность.

Мы против натурализма, теряющего перспективу, зарывающегося в детали, в частности.

Мы за последовательный, диалектико-материалистический метод показа действительности, т.-е. за такой метод, когда, как говорит А. Фадеев: „художник пролетариата пойдет по линии наиболее последовательного, решительного и беспощадного срывания всех и всяческих масок с действительности, когда он даст картины жизни, очищенные от ходячих предвзятых мнений, от поверхностнейшей, внешней

видимости вещей, когда он вскроет об'ективную диалектику действительности". Здесь будет широкая возможность показать все многообразие сегодня и перспективу завтра.

Вот мы как понимаем наши творческие задачи.

Наконец, еще одно предварительное замечание. Если мы на нынешнем этапе развития пролетлитературы говорим, что психологический роман необходим пролетарской литературе, если она „хочет служить культурной революции, если она хочет помочь переделке человеческого материала, способствовать направлению роста индивидуальности в социалистическое русло" и т. д., то это еще не означает, что мы только за психологический роман и больше ни за что. Наоборот, нам нужны различнейшие жанры литературы. И нечего здесь Беспалову, Горбачеву и К-о ломиться в открытую дверь.

Но здесь есть одно чрезвычайно важное „но".

Речь пойдет о последнем произведении Ю. Либединского—„Рождение героя" и, собственно говоря, не столько о нем, сколько о методе его защиты.

Ю. Либединский, давший ряд неплохих произведений, хотя бы „Неделю", на этот раз написал плохой роман. Причина неудачи автора заключается в том, что Либединский на основании ошибочного положения о необходимости „действенного самоонализа"... для большевика,—написал произведение, где на первый план выпячена личная жизнь старого партийца, где любовная перепития (вольно или невольно— это дело автора) заслоняет эпоху развернутого социалистического строительства. Беда автора в том, что его „герой"—Шорохов слишком „действенно" копается в своих ощущениях, переживаниях и в этом теряет свою партийность, свое единство с коллективом, с партией. По существу говоря, ни о каком утверждении цельной личности большевика не может быть и речи, ибо налицо—размагничивание этой личности.

Перенеся центр внимания на „самоанализ", автор приблизился к позициям буржуазного интуитивизма. Здесь основная ошибка автора.

Наша критика с самого начала должна была указать без всяких оговорок эту ошибку автора и помочь ее исправить. Но этого не было сделано. Тов. Ермилов в своей статье в „Лит. Газете "называет роман Либединского „замечательным", и только несколько ниже пишет о „некоторых" ошибках автора. А другой критик Добин пишет:

„Новое произведение Ю. Либединского—вещь очень талантливая, полная внутреннего, горячего пафоса, в отношении художественного мастерства, пожалуй, наиболее яркая и зрелая из всего созданного до сих пор Либединским—выдвигает сложные и глубокие проблемы". (Подчеркнуто мною—В. З.). Но в том-то и дело, что „Рождение героя" ничего, кроме путаницы, не выдвигает.

Все хорошие намерения автора — показать процесс борьбы стойкого большевика Шорохова с Эдкуниным — убил „действенный самоанализ".

Это и надо было бы сразу, безоговорочно сказать. Но это не было сказано. И за это ухватились противники напостовства, боевого литературного течения в рядах пролетарской литературы, многие годы успешно дравшегося с интуитивистом Воронским, меньшевиствующим в вопросах литературы проф. Переверзевым и его учениками (Беспалов и др.), с идеалистами, эклектиками, критическими пошляками, вроде проф. Фатова, формалистами и т. д.

Теперь „левые", демагогически оперирующие „Рождением героям", в атаке на основные положения боевого напостовства, пытаются дискредитировать наши творческие лозунги.

Но в том-то и дело, что „Рождение героя" является результатом недостаточно усвоенного правильного нашего метода.

Итак, о творческом лице АПП-ИПО.

* * *

Основное ядро творческого актива АПП-ИПО шло по тому же пути, по которому развивалось творчество головного отряда пролетарской литературы.

По мнению противников реалистического показа всякий психологизм ведет к „психоложеству", потере перспектив, к самоуглублению и прочим грехам. Однако, ничего подобного мы не видим в романе В. Смирнов — „Гарь", сделанном приемами реалистического показа.

Героем этого романа является Антон Кашин, бедняк крестьянин. Две ипостаси крестьянской натуры—собственническая и трудовая—борятся в Антоне Кашине. В процессе борьбы побеждает—трудовая.

Этот перелом нарастает постепенно, с большими отступлениями, колебаниями, но он показан реально, убедительно. Вначале мы не знаем за чем останется победа. Процесс развивается диалектически.

Удались автору и многие другие персонажи—Невский, Рожко, Алексей. Кулак Опарин (из второй книги „Гари") показан чрезвычайно убедительно: без всякой лубочности и фальши.

Творчество другого беллетриста—М. Шошина характерно бытовым материалом. Его интересуют, по преимуществу, крестьянские темы. Борьба за колхоз, за социалистическое строительство, за переделку старой, межевой деревни, отношения между парнями и девушками—вот основные темы Шошина. Но в последнее время Шошин обращает внимание на фабрику, на такие стороны нашей жизни, как соцсоревнование, бригады, ударничество и т. п. Пишет Шошин сравнительно давно—лет семь-восемь. За это время автор значительно окреп, развился. Его последняя вещь „Астрабат"—повесть о борье за колхоз, дает историю зарождения и развития, в процессе жестокой борьбы с кулачеством, бедняцкого Астрабата за новую жизнь.

Автор сумел с достаточной силой показать борьбу передовых астрабатовцев. Однако, повесть написана в контурных тонах. Автор очень часто характеризует своих героев двумя—тремя психологическими штрихами, может быть и характерными для того или иного персонажа, но не дающими о нем всестороннего представления. Метод художественной детали не в состоянии заменить многокрасочную палитру психологического анализа. Но в целом, повесть „Астрабат" производит хорошее впечатление. Эта вещь определенно удалась автору.

Алешин, А. П., автор небольшой книги „Квартира номер последний", рассказов—„Сторож" и „Лошадиная эпоха" („Атака" № 1 и 2), а также нескольких художественных очерков („Новый Мир" № 5), остро чувствует материал. Он любовно относится к слову, которое у него так часто бывает метким, образным, впаянным в ткань рассказа. Люди у Алешина показаны так разносторонне, что кажется, что они стоят перед вашими глазами.

Несомненно в лице Алешина мы имеем зрелого или почти зрелого художника. Но беда автора заключается в том, что его творчеству часто не хватает большевистской зарядки, что отношение автора к героям не всегда бывает по-большевистски непримиримым. Возьмем хотя бы рассказ „Сторож", где читатель без труда почувствует „теплое" отношение автора к „капиталистическому пеньку, мирно вростающему в социализм".

Происходит это не потому, что Алешин расположен к своему герою. Причина кроется в другом, в отсутствии достаточно крепкого, большевистского мировоззрения. Автору несомненно следовало бы поставить вопрос,—что же он хотел показать: лишнего человека—„обломка империи" или только человека, которого жаль по-человечески.

И если бы Алешин решил этот вопрос по-большевистски непримиримо, не получилось бы этого „теплого" отношения.

* * *

Разбирая творческие достижения АПП—ИПО мы не можем пройти мимо крупнейших провалов в творчестве части владимирских товарищей' находившихся под нездоровым творческим влиянием В. Полторацкого, сумевшего сочетать „выдержанную" идеологию с кафе-шантанными стихами под Вертинского.

Начнем с его „Тополиного роста", вещи в достаточной степени испорченной манерностью, развязностью автора.

Повесть „Тополиный рост" была задумана, как „героическая повесть" о комсомоле, соцсоревновании, ударных бригадах.

Основная ошибка автора, допущенная в самом начале,—это романтическая приподнятость, ненужная экзальтация, совершенно не вяжущаяся с самим материалом повести. Отсюда—элементы фальши, неискренности, натянутости.

Автор все время мечется между лирической приподнятостью и подчеркнутой грубостью.

Теперь, как показаны отдельные герои? Комсомольцы, рабочие очень часто выглядят сплошными неврастениками. (Например, политпросвет ячейки Васька Токарев). И зачем только автору понадобилось сделать хорошего, здорового парня—неврастеником.

„ — Так все неправы,—прав Чернов. Значит, плюйте на все, живите, организуйте вместо ячеек гаремы, называйте это новым бытом и...—он поднял руку и шваркнул об стол полузадушенную кепку."

„ — Жизнь... Ленин—жизнь, а вот она—мать моя, старуха, померла на прошлой неделе—видела в жизни она горшки, ухваты, да стирала чужое белье... пятьдесят семь лет это... пьяный придет, побои. Нас растила, и грудными мы сосали соленое молоко—пополам со слезами было оно... А ведь человек она... ребята... человек...—И рукой задрожавшей нащупал ворот рубашки и рванул."

„ — Лучшую девку в поселке обработал и характерами не сошлись!.. Новую подстилку тебе под себя надо, а не характер новый..."

„Он взял стакан с водой и стал пить, и в тишине, воцарившейся сразу, услышали, как звякали зубы о стекло. А он махнул рукой и все еще дрожа, сел на свое место..."

При всей взволнованности Токарева, зная его, как нормального парня, мы бы никогда не предполагали у него наличие такой сильной „неврастении". Все это надуманно, ради эффекта.

Погоня за эффектом, за оригинальностью губят вещь.

Не удалась и другому автору—Кондакову важная тема о социалистическом соревновании. А не удалась она потому, что Кондаков очень усердно смотрел на своего „учителя"—В. Полторацкого.

Рассказ Кондакова—„Этажи" производит странное впечатление своей изодранностью, неврастенией, наползающей на читателя из каждой страницы. Отдельные куски жизни фабрики, поданные автором экспрессионистически, не дают верного представления ни о людях, ни о их делах.

Но, кроме неправильного композиционного разрешения, вещь еще и слабо написана.

„ — Из ткацкой...

И...

Но...

Вдруг..."

Очевидно все эти начатые и неоконченные фразы должны создавать у читателя „особое" настроение. Но кроме досады ничего не создается.

Мы не станем перечислять остальных прозаиков. Ограничимся лишь замечанием, что большинству из них надо еще очень много учиться, работать над собой и развивать себя политически, теоретически, без чего немыслима ни большевизация творчества, ни творческий рост.

Теперь перейдем к поэтам, народу более многочисленному, шумливому и еще менее организованному в творчестве.

* * *

Литературное движение нашего текстильного края еще в прошлые годы неразрывно было связано с текстильной фабрикой. Еще в годы первой революции рабочая среда выдвинула ряд рабочих поэтов: Романа Семенчикова, Нефедова, Рязанцева, С. Рыскина, Ав. Ноздрина, позже Ал. Благова.

Но за кратко-временным революционным под'емом следовали глухие годы царской реакции. Они не благоприятствовали пробуждению творческих способностей рабочего класса. Они давили на творчество писателей из рабочей среды.

Под тяжестью романовской деспотии погиб ни один талант.

Лишь с победой революции стало возможно пробуждение дремавших сил.

Одна из особенностей нашего пролетариата (текстильного)--тесная связь с деревней; эта особенность накладывает своеобразный отпечаток и на характер творчества поэтов Ивановской области.

Начнем с Иванова. Здесь наиболее полно заметна преемственность между „первыми зачинателями„ и сменой.

В 1928 г. вышла книга стихов Ав. Е. Ноздрина „Старый парус“. Стихи этого сборника помечены разными датами—от 1898 года до последних лет (1925 г.).

Ав. Ноздрин—старый ивановский рабочий—гравер. Он знаком был и с царской тюрьмой, борьбой 1905 года, поэтому стихи так часто говорят о борьбе, о тяжелом подневольном труде ткачей, о царской ссылке.

Поэт, несмотря на свой почтеннейший возраст, бодро шагает с современностью. И хотя „Парус“ его, как он сам говорит, в заплатах,

„Но красоты, в борьбе, в огне
Я не бегу и не чураюсь,
Попутный ветер будет мне—
Я разверну свой старый парус“...

И „Старый парус“ не изменяет поэту, он крепко выдерживает порывистые шквалы наших дней.

Ал. Благов подлинный поэт текстильного города. Благов, по основной профессии ткач, на поэтическое поприще выступил еще в 1910 г. Его „муза“ развивалась в бурные десятилетия войны и революции. В творчестве Благова весьма своеобразно сочетались мотивы городской, фабричной жизни и деревни. Его художественные средства—образы, эпитеты—впитали в себя ритм машин, стук челноков и удары берд, но они смягчены дыханием земли, ее парами.

„Ремни колышатся, шипя,
Шлифуют сталь ладонью жесткой...
Я вижу в корпусе тебя
Румяной, утренней березкой“...

Или—

„У окна моя машина
В солнце вежится весь день...
Белых ниток паутина
На железной борозде.
Я приду с зарею яркой,
Обмету с машины пух...
Ну, скорей над кочегаркой
Запевай, гудок-петух“...

В этих строках, даже в описании фабрики, поэт прибегает к образам, позаимствованным из деревенской жизни.

В сборнике „Рабочий город“ (издание „Московский Рабочий“, 1928 г.) Благов все время касается одной темы—фабрики. Фабрика дана в окружении деревенского пейзажа. Фабрика—работа, труд; деревня—отдых, куда уходит поэт после фабричного труда.

Но с деревней поэт порвал, его—

„Заманил к себе фабричный город,
Заманил и верным другом стал.
И теперь вот: ни души, ни взора
Не ласкают тихие места“...

В последнее время внимание поэта все больше обращается в сторону города, в сторону социалистической стройки, переделки старого быта, переделки людей. Очень часто поэт ополчается против обывательской тины, против стоячего болота мещанской жизни, еще крепко опутывающей рабочие окраины. В стихотворении „Хозяин" поэт показывает обывателя из рабочей среды. Правда, мы не найдем в стихах Благова гневных строк. Гнев, ненависть скрыты под иронией, под усмешкой.

Форма стиха Благова проста—это преимущественно ямб, который поэт „защищать всегда готов".

Несомненно, на поэзии Благова сказалось влияние Некрасова. Но в то же время творчество А. Благова достаточно самобытно. В его лице наша молодежь имеет продолжателя той ветви поэзии, которая на своих знаменах писала—„с общественностью и для общественности".

По своему самобытен и С. Огурцов. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с творчеством С. Огурцова—это колоссальнейшая жажда жизни, любовь к солнцу, к здоровой, бодрой юности. И недаром эпиграфом к одному из своих сборников он выбрал строки Эмиля Верхарна: „Все—жизнь! Все красота!"

У Огурцова мы также находим своеобразный переплет фабричных тем с деревенскими.

По своему складу Огурцов—лирик, но он часто от лирики переходит к пафосу.

Слабее Огурцов в тех стихах, где пытается давать обобщения, где мысль необходимо оторвать от знакомой, бытовой среды; такими стихами являются—„Письмо отца", „Стихи о Заратустре" и другие. Огурцов сжился со своими образами, эпитетами; язык автора стал однообразным. Появились штампованные места („Поля могутно близятся", „Звонами ударными невиданных побед", „Небывалый гул", „Весенний гул", „Разливанные песни").

Последняя поэма С. Огурцова „Мир дворцам—бой хижинам", отрывки из которой частью уже напечатаны, поэтому-то значительно проигрывает.

Группа ярославских поэтов так же, как и ивановская, неоднородна в своем творчестве. С тематикой почти чисто деревенской мы видим Горбунова, но, если прежние его стихи носили на себе отпечаток некоторой аполитичности, пессимизма; в них не чувствовалось точной классовой расстановки (стих. „Рысак"), то последний цикл стихов значительно меняет лицо автора. Горбунов в последних стихах дает деревню—эпохи социалистической перестройки („Межа", „Поле без межей").

Борис Глебов и Немцевич за последний год-два творчески и тематически остыли. Раньше в их творчестве переплетались тусклые нотки, опасения за судьбу революции. (Например, стих. „Заштатный городок")—

....„В этих домиках сонных за щелками
Выжидающий прячется враг.
Всех семянками нас перещелкает
В ненасытный бездонный овраг".

Или у Глебова:

„У работниц в углах—иконы...
А в других городских углах
Тень от скопища беспризорных
На блестящий асфальт легла...
Надо в эти болячки круче
Хирургический врезать нож,
Надо лес расчищать дремучий,
Расчищать под густую рожь".

Теперь у них появилась бодрость, уверенность в завтрашнем дне, открылись горизонты.

И раз мы уже заговорили о молодых будем продолжать.

Большинство из них пришло в ряды организации от фабричных станков, с фабрик, с заводов. Многие из них не знали борьбы за власть, не помнили ни расстрелов на „Приказном мосту", ни тяжелого гнета капиталистической фабрики.

Но это—наша смена, наши новые кадры. Их настоящее, главным образом, учеба.

Многие из них еще подвержены эпигонской зависимости от литературных „метров", хотя у некоторых уже налицо углубленный подход к теме, стремление к обобщениям; творческая мысль ищет новых форм выражения.

Но здесь мы отметим и такое явление. Некоторые молодые товарищи настолько усердно изучают своих учителей, что теряют всякую самобытность и превращаются в жалких эпигонов. Это в значительной степени касается, например, С. Коткова, пошедшего на выучку к конструктивистам. Однако в результате некритической „учебы" мы встречаем у автора „заумь", сползание в индивидуализм.

Может быть, эта учеба тренирует, развивает (не надо забывать, что многие из современных поэтов—Маяковский, Пастернак и другие—очень много взяли у такого „заумного" поэта, как Велемир Хлебников), но надо помнить, что это легко может стать самоцелью. Эта опасность непосредственно стоит перед Котковым.

И еще раз о большевизации. В ней отстают многие из наших товарищей, особенно это относится к Часову, Баранову, Киселеву, Косульникову, Новожилову, М. Маркову, Галямову, Давыдову и др.

Пора уже отбросить в сторону „чистую лирику", любование природой, звездами и луной. Пора понять, что о луне писали и пишут поэты, начиная с Петрарки и кончая самым юным поэтом наших дней. Но луна—луной и останется. Так не лучше ли перенести свое внимание с „лунной обстановки" на земную, на живую действительность, живых людей, на нашу борьбу, строительство.

О том, куда ведет дорога личных переживаний, укажем на А. Киселева и Вл. Новожилова.

А. Киселев совсем молодой поэт, вдруг проникся сознанием, что лирика может быть только сугубо-индивидуальной лирикой (!?) без всяких общественных моментов... (!?) Видите ли, в этом его убедили творческие пути... Есенина, Гумилева. Вот с такой „теорией" сидел поэт в колхозе и „сочинял":

„Ну вот! Так и есть! Опять!
Закрыты все парники...
На ферме телята идут,
В Будилове был пожар,
В крольчатник вхожу и тут...
Зарезали без ножа.
Трещит по всем швам колхоз,
А тут еще туберкулез."

Караул, тов. Киселев, режете вы себя без ножа! Неужели вы больше ничего не видете вокруг себя?

Почти то же надо сказать и о Вл. Новожилове, у которого очень много лесных звуков, нежных чувств, любви к природе, но нет ни грамма большевистской хватки.

Правда, иногда он закипает и мы тогда читаем:

...„Кто сказал там,
Что обязан я
О машинах петь
И о закладках...
Я хочу нетронутых лесов
Тех ненайденных,
Забытых весен"...

Неумение схватить жизненные явления во всем их об'еме, многообразии, напор непреодоленной крестьянской, мелко-собственнической, сугубо-индивидуалистической стихии—все это есть у автора. И все это можно будет преодолеть только в учебе, в борьбе за свое мировоззрение, а следовательно и мироощущение.

* * *

В неумении схватить жизненные явления во всем их многообразии — начало литературной „тейковщины". Посмотрим, как она начинается.

Начало кладется беспризорностью молодых литкружковцев. На тейковском примере мы видим, что нездоровая, гнилая атмосфера, существовавшая в литературном кружке в течение довольно изрядного срока, мало интересовала тейковскую общественность. Даже дела более серьезные, как школа, не находили к себе должного внимания со стороны партийно-общественных организаций. А в итоге молодежь фактически была предоставлена сама себе, преступно растрачивала свою молодую энергию на бесцельное время-препровождение и своими нелепыми выходками, вроде „дуэли", потешала тейковскую обывательщину.

В чем же вина тейковского кружка?

В том, что он предпочел идейную теоретическую учебу — увлечению чуждыми произведениями классово-враждебных писателей и пошел по пути некритического, рабского подражания творчеству этих писателей. Литкружковцы в поэтическом опьянении упадочной лирикой оторвались от окружающей обстановки и очутились фактически на положении „островитян", пребывающих на острове в „прекрасном".

Тейковский литкружок, существуя два года, не сумел стать на действительно большевистские рельсы работы, учебы и творчества. Среди некоторых кружковцев было распространено мнение, что все они уже „гении", что учеба дело никчемное, скучное, что нужно сразу „творить".

И они „творили". Среди кружковцев процветала зависть, стремление щегольнуть фразой, позой. Кружковцев обуревало мелкотравчатое самолюбие. И, не умея видеть окружающую жизнь, они переключали свою энергию на мечты о путешествиях, об уходе из той „обыденной" обстановки, в которой находились.

В свою очередь эти мечты приводили к увлечению лирикой классово-враждебных писателей, вроде Есенина.

А желание быть „непохожими" на других приводило к тому, что многие литкружковцы, стремившиеся „удивить" тейковских обывателей, превращались в предмет общего посмешища.

Однако, вместо того, чтобы „решать" весьма сомнительные проблемы, вроде—„с эпохой я или вне ее", целиком позаимствованные у того же Есенина; вместо того, чтобы петь „чистую лирику", песни с чужого голоса и мечтать об Америках, скитаниях и прочей чепухе, на первых порах, мы порекомендуем товарищам прежде всего стать активными рабкорами заводской газеты и переключиться на такие конкретные дела, как борьба за промфинплан, ударные бригады, борьба с отсталыми настроениями, лодырями, прогульщиками, тунеядцами, со всеми врагами социалистического строительства.

И тогда мы не будем читать подобных „стихов".

„Который час, куда итти?
И свет, и тени вслед за мною...
На бренном жизненном пути
Стоит туман сплошной стеною.
И никого я не любил,
И никому ни в чем не верил...
Бывает так: среди кобыл
Гуляет одинокий мерин."

(Из материалов литконсультации, стихи рабочего Струнинской фабрики).

Итак, мы должны большевизировать свое творчество, развернуть тематику, наполнить стихи идеями, мыслью (и здесь, пожалуй,—выход из „кризиса" поэзии, о чем сейчас принято кричать), не останавливаться на второстепенных темах, бороться за главное, преодолеть предрассудки поэтического барства.

Только на этом пути лежат успехи.

Иного пути нет.

Мы твердо должны помнить, что только тогда, когда все наше творчество, вся наша работа, вся наша организация большевизируется, не будет тех провалов, того отставания, которые несомненно еще есть сегодня.

А большевизация творчества, работы, организации — это, выражаясь словами А. Фадеева, включение пролетарского литературного движения в повседневную революционную практику рабочего класса, строящего социализм; это овладение мировоззрением марксизма-ленинизма, выработка своего диалектико-материалистического художественного метода в теснейшей связи теории и практики; это орабочение РАПП; это развертывание широчайшей самокритики, учебы и творческого соревнования в пределах единой литературно-политической линии и единого диалектико-материалистического художественного метода, борьбы с чванством, самодовольством, кружковщиной; это борьба за чистоту ленинского оружия со всеми и всяческими проявлениями правого уклона, как наиболее опасного в данный момент в рядах РАПП, и с „левым" фразерством, в чем бы оно не проявлялось; это развертывание решительного наступления на буржуазную литературную науку и их подголосков; это—превращение пролетарской литературы в идейного водителя всех революционных литературных отрядов.

## ПОД ЗНАМЕНЕМ ИДЕАЛИЗМА.

Какими бы „гуманными" фразами не прикрывались „перевальцы", как бы они не старались апробировать свои реакционные идейки о гуманнизме и жалости к затравленному врагу, обращаясь к... „раннему" Марксу, становится все более ясным, что „боевые" выступления „перевальцев" находятся в одном ряду таких явлений, как дело Пильняка и Замятина.

На знаменах „перевальцев" написано:

1) Искренность, органичность творчества.
2) Эстетическая культура.
3) „Уменье видеть мир".

Все это подкрепляется „первоначальной чистотой восприятий, победой моцартизма над сальеризмом, таланта над ремесленничеством, борьбой за „освобождение" человека от всяких связывающих его пут" и т. д. Все это находится в творческом арсенале „Перевала".

Но отбросив в сторону словесную трескотню этих лозунгов, попытаемся проникнуть в глубину их смысла. И тут-то сказывается вся их порочность, обнаруживается, что апробированы эти лозунги не у „раннего" Маркса, а у Троцкого и Воронского.

„Искренность" „перевальцев" предельная. В своих теориях и практике они „искренни" до конца. Они „искренни", когда фальсифицируют Маркса, когда проповедуют жалость к классовому врагу, когда защищают чистое искусство от ремесленников и... Плеханова.

„Эстетическая культура" у „перевальцев" тоже повышенная. Это в достаточной степени обнаружилось и обнаруживается на публичных выступлениях „перевальцев". Но все же, как не воюют они за „эстетическую культуру", дальше первобытных лесных людей пока не пошли.

„Культура" их подозрительно напоминает культурную реакцию, что же касается „уменья видеть мир", чему „перевальцев" долго учил Воронский, то в этом отношении они добились значительных успехов.

Но беда вся в том, что видеть мир можно по-разному. Ведь в конечном счете главное не „что", а „как". Так вот по части—„как видеть"—у „перевальцев" не все благополучно. На мир они смотрят не нашими, не пролетарскими глазами. Они страдают той куриной слепотой, которая называется „гуманнизмом". Гуманность заставляет их сочувствовать судьбе Ниловых (герой из рассказа Катаева „Молоко"), в эпоху острой, беспощадной классовой борьбы проповедывать „мир, любовь, спокойствие и высокий гуманнизм".

Но, может быть, все эти обвинения голословны, может быть, они продиктованы „групповыми" разногласиями. Для доказательств мы остановимся лишь на практике той части „Перевала", которая сформировалась в провинции, творчество которой имеет провинциальный колорит.

Мы будем говорить о произведениях тех „перевальцев", которые воспитались под идейным и политическим влиянием А. К. Воронского в Иваново-Вознесенске.

Отсюда вышли „перевальцы"—Дм. Семеновский, Е. Вихрев, Н. Колоколов. Здесь еще существует, хотя и в „подполье", группа „Перевала". По практике этой группы уже можно составить точное представление об общественно-политическом лице этой организации. Группа насчитывает 5—6 человек. Что она делает—неизвестно. Вообще в литературно-общественной жизни пролетарского центра эта группа не подает никаких признаков. А если все же о ней приходится вспоминать, так только, благодаря „стенным" ее выступлениям по вопросам литературы.

Правда, у наших „перевальцев" были и лучшие времена, когда редакторское кресло газеты „Рабочий Край" занимал один из литературных соратников Воронского—М. З. Мануильский. Тогда можно было публично и ревизовать Плеханова.

Но будем последовательны.

Итак, с общественной стороны группа ивановских „перевальцев"—труп.

Предметом нашего дальнейшего исследования будет творчество „перевальского" актива, вышедшего из рядов местной группы.

В трудах и писаниях сих авторов не мало рассыпано любопытных „истин и откровений". На их творчестве нетрудно проследить постепенную эволюцию таких лозунгов, как „искренность", „эстетическая культура", „искусство виденья", „гуманность" и т. п.

Остановимся на книге Ефима Вихрева—„Палех".

Кто не слыхал о палехских кустарях-художниках, прославившихся росписью на изделиях из папье-маше.

В дореволюционное время Палех славился богомазами. Революция сделала ненужным это ремесло. Богомазы рассеялись по всей стране, а небольшая группа кустарей-художников организовала артель и занялась росписью на изделиях из папье-маше. Работа палехских художников дорого ценится за-границей, куда, в качестве экспортного ассортимента, вывозятся изделия палехских мастеров.

Спору нет,—мастерство палехских кустарей оригинально, вполне заслуженно оценено за-границей и у нас.

Но все это еще не дает никакого основания советскому писателю ревизовать плехановские взгляды на искусство, нести идеалистическую чепуху и сюсюкать перед истинным искусством.

Автор „Палеха" долго и настойчиво убеждает читателя, что мастерство палехских художников—и с т и н н о е и с к у с с т в о, а не ремесленничество. Для доказательств автор прибегает к помощи химии, по законам которой „уголь превращается в алмаз".

„Истинная красота, пишет автор, не рождается без мучений и взрывов. Истинную красоту создает безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность". В этом контексте подозрительным является самый термин „истинная красота". Еще Плеханов неоднократно вдалбливал в головы поклонников чистого искусства, что „абсолютного критерия нет и не может быть". (Плеханов том XIV, стр. 179).

Несколько ниже, в главе „от образов к образам", Вихрев ополчается на „утилитарность" и „преднамеренность" в искусстве.

„Дореволюционный Палех, — пишет автор, — был до конца утилитарным и в силу своей намеренной утилитарности он погиб, погиб сам собой еще задолго до революции"...

Страницей дальше мы читаем: „Возрожденный Палех прямо противоположен дореволюционному, потому что он есть подлинное искусство, освобожденное от каких бы то ни было заведомо утилитарных целей". И ниже: „Палех выпускает не просто картины и ни какие-нибудь без-

делушки, а вещи с определенными практическими назначениями—портсигары, шкатулочки, пеналы, бисерницы и т. д. Но в том-то и дело, что всякий уважающий искусство обладатель палехской миниатюры пожалеет употребить ее по прямому назначению. Портсигар—это фикция"...

... „В утилитарных предметах, кажется, отсутствует практическая утилитарность"...

Здесь невольно возникает вопрос: зачем же тогда палехские мастера прессуют картон? — А затем, отвечает автор, чтобы „в ней лишний раз подчеркнуть внеутилитарность вещи, показать, как прелестен и дорог этот тонкий слой краски на крышке изделия."

Мы совершенно сознательно привели такую длинную выдержку из книги „Палех", чтобы читателю стала вполне ясной—„эстетическая природа" автора.

Термин „утилитарность" Вихрев толкует несомненно в широком смысле, подразумевая под ним все общественное значение искусства и, полемизируя против него, автор, несомненно, полемизирует против того взгляда на искусство, который „придавал его произведениям значение приговора о явлениях жизни".

Мы видим у автора плохо скрытое утверждение незыблемости чистого искусства, утверждение искусства для искусства.

Когда автор провозглашает внеутилитарность искусства, внеутилитарность вещи, невольно стараешься вспомнить, кем раньше были обнародованы эти мысли.

Они целиком позаимствованы у Теофила Готье.

В предисловии романа „M-lle de Maupin" Теофил Готье восклицает:

„Нет, глупцы, нет, зобастые кретины, из книги нельзя приготовить желатиновый суп, из романа—пару сапог без швов... Клянусь кишками всех пап будущего, прошедшего и настоящего времени, нет и двести тысяч раз нет.. Я принадлежу к числу тех, которые считают излишнее необходимым; моя любовь к вещам и людям обратно пропорциональна тем услугам, которые они могут оказать".

Вот откуда почерпнул „эстетическую культуру" автор. Теофил Готье любовь к вещи и людям оценивал обратно пропорционально тем услугам, которые они могли оказать.

У Вихрева „вся прелесть искусства" в ее внеутилитарности.

Теперь мы знаем, с чьего голоса говорит автор! Здесь напомним автору, что тот же Теофил Готье заявлял: „я с большой радостью откажусь от моих прав француза и гражданина, чтобы видеть подлинную картину Рафаэля или нагую красавицу."

Слышите, тов. Вихрев?

Но, может быть, автор или его защитники (такие всегда находятся) попытаются опровергнуть подобное сравнение и заявят, что тут „ошибочка". так, чтобы не было сомнений в твердости авторских взглядов, приведем еще одну цитату из первоначальной редакции книги „Палеха", напечатанной Иваново-Вознесенской газетой „Рабочий Край" в 1928 году. Вихрев пишет:

„Никак нельзя обойти молчанием тот вечный спор о преднамеренной утилитарности и бескорыстной (!?) прелести искусства, который до сих пор разрешается в диспутах и в журнальных полемиках. Подлинное искусство внеутилитарно и внетенденциозно. Как только искусство начинает намеренно приспособляться к требованиям сегодняшней жизни,—оно перестает быть искусством. На примере „Палеха" этот взгляд на искусство, как на источник бескорыстного наслаждения, находит новое подтверждение".

Теперь вполне ясна позиция автора; комментариев не требуется. Марксист—писатель из „Перевала" договорился до идеалистического тезиса „искусства для искусства".

Но вернемся к „Палеху". Весь тон этих очерков доказывает предельную степень обалделости автора перед чистым искусством палехских художников. Автор водит читателя по мастерским палехских художников. Сколько восторженных слов, восклицаний растрачивает он в этом путешествии. Не писатель-коммунист, а какая-то лирически-настроенная институтка.

Для усиления контрастов Вихрев вводит в книгу главу об Иванове. Но здесь мы не найдем той проникновенной теплоты, с которой автор описывает „превращение угля в алмаз". Здесь впечатления—и н о с т р а н ц а, а не активного участника строительства.

Чичероне автора является Д. Семеновский, соратник Вихрева по „Перевалу".

По заявлению автора, Д. Семеновский пишет стихи о „голубом мосте, перекинувшемся от неба до земли", о „тоненькой жимолости", о „грустном покое повечерья", у которого ольха пляшет, а весна зелеными рукавами машет". Этот поэт, по свидетельству автора, „мечтательный".

Мы с ним согласны, но здесь одна деталь, когда поэт выполняет обязанность чичероне, он называется „Костей Васиным", ивановским „Кузьмой Прутковым", передовым газетчиком, фельетонистом и только в главе „С о з в е з д и е И в а н о в" мы узнаем его настоящую специальность—„мечтательный поэт". Так две натуры, две ипостаси слились в одном лице. Мы остановились на этой детали лишь за тем, чтобы проследить, как „органически" соединяются в творческом дуэте чистого искусства художник Иван Вакуров и поэт Д. Семеновский.

Здесь мы распрощаемся с „Палехом", „книгой" о „чистом искусстве", книгой в достаточной мере теоретически безграмотной и лирически слюнтявой и перейдем к последнему сборнику стихов Дмитрия Семоновского „Земля в цветах".

Основное, что бросается в глаза при знакомстве с творчеством этого поэта,—н е л ю б о в ь к г о р о д у „х м у р о г о т р у д а", с т р е м л е н и е у й т и в л е с н ы е п р о с т о р ы, в г о л у б ы е л у г а и п о л я.

„Сладко вскинуть котомку на плечи
И пойти по полям и лесам,
По путям незнакомым далече,
Откликаясь птиц голосам."

Пишет поэт в одном из своих стихотворений, помеченных 1915 годом.

И позже, в годы ожесточенной классовой борьбы, поэт неоднократно возвращается к этим настроениям.

В 1918 году он пишет:

„Не пойму. Но мне всего дороже
Хмурой елки встрепанный шатер,
Тишина пустынных приозерий,
Облака да ветряный простор."

Эти же настроения вновь повторяются в стихах 1923, 25, 26 годов.

„Только б нежностью лучиться,
Только б слышать в полусне,
Как невидимая птица
Заливается во мне."
(26 г.).

„С детских лет полюбил я до боли
Лес багряный, простор голубой.
Только в поле, безлюдном поле
Становлюсь я самим собой."
(23 г.).

Итак, мы видим, по признанию самого автора, что поэт становится „самим собой" только в „голубых просторах".

Мы не сомневаемся в „искренности" поэта. Это делает честь поэту, но это не меняет дела.

У Семеновского налицо тяготение к чистой природе.

Об'яснение этому мы найдем тогда, когда посмотрим, как относится автор к городу. Мы уже раньше указали, что поэт не любит города „хмурого труда". Подкрепим это заявление словами самого автора.

„В этом городе гари фабричной
И кирпичного леса труб
Дни и ночи рукой привычной
Ткет судьбу свою хмурый труд.
Здесь иссохшей заботе все снится
Беспокойное пенье гудков.
В этом царстве чахотки и ситца
Бьюсь и я за кусок и кров."

И дальше:

„Да, угарно гуляет пивная,
Да, от липких дверей кабака
Волокут проститутку, пиная
Сапогами в живот и бока."

Таким кажется поэту город „гари фабричной".

Дм. Семеновский видит только одну сторону города и притом в сгущенном, черном свете.

Это стихотворение автор опять заканчивает гимном природе.

„А весенние зори прекрасны
И в косматом фабричном чаду!"

Односторонность восприятия поэтом жизни приводит его к мрачной меланхолии, к настроениям уйти, убежать из „булыжного города", из „гремучего капкана", куда судьба, как птицу в клетку, бросила поэта. Отсюда рождаются настроения бродяжничества, с которыми поэт неизбежно соединяет „вольное житье цыган".

Правда, поэта не удовлетворяет мещанское житие. Нотки этого неудовольствия мы встречаем в стихотворениях „Не мак цветет, не розаны" и „Гуденье церковной меди".

Но в первом стихотворении поэт прославляет бродяжничество пушкинского Алеко:

„Эх, счастье ты комедное,
Глухое забытье!..
Нет, лучше—хоть голодное,
Да смелое житье!"

Во втором стихотворении Дм. Семеновский ограничивается ироническим восклицанием по адресу обывателя:

„Спи с миром, как спал многократно.
Ты в жизни оставил след:
Клопиные бурые пятна—
Свидетельство скромных побед."

После этих щедрых цитат мы можем подвести известный итог мировоззрения поэта.

И здесь нам помогает автор, заявляющий: „Я не труба, не медь набата", „душа не яростью богата, не злобу пестует поэт".

При этой ссылке на слова поэта нас могут упрекнуть—почему мы „выдергиваем" первые строчки стихотворения и почему не сообщаем, что поэт после „анафемы" насилию, заканчивает—„Но—слава злобе, воинствующей за любовь!".

Но упрекать нас не в чем. Все настроение стихотворения, достаточно устремленное, проникнутое ненавистью к борьбе, к „насилию", и одна строка дела не меняет, тем более, что ее можно понимать двойственно, именно, как проклятие борьбе, мешающей любви. Слово „слава" здесь идет по линии защиты нарушенного спокойствия и безмятежности.

Мировоззрение автора лежит в стороне от наших дней, от той упорной борьбы, которая создает многообразие жизни, которая придает динамичность нашей эпохе. Наши дни не заражают поэта энтузиазмом борьбы, строительства. Ненависть и непримиримость не свойственны автору.

Поэт чувствует себя надломленным, неудовлетворенным, ибо „слишком мало кругом хорошего", ибо „слишком много назисло свинца."

Вывод можно сделать один:

Поэт опоздал, безнадежно опоздал на поезд современности, этак лет на 30, а в результате он несет большие издержки и творчество его в основном проникнуто тоской, меланхолической грустью, жалобой.

Здесь невольно вспоминается декларация Лежнева о трагедийности искусства

Семеновский дает пример такой трагедийности. Его личность, как поэта—трагедия.

А вы, „перевальцы", говорите о „цветении искусства". Какое тут цветение—одна тоска! Ваше искусство видеть мир, искусство одностороннее!

И тут мы видим, в творчестве Дм. Семеновского, близость „перевальцев" к той плеяде писателей, которые имели органический разрыв с действительностью (это по Плеханову, не по Воронскому!).

Но только разрыв с действительностью не Николая Палкина, а действительностью нашей, социалистической, с эпохой строительства социализма.

Но оставим пока поэта и его защитников в позе созерцательного любования природой.

Перейдем к третьему столпу ивановской плеяды перевальствующих—Н. Колоколову.

Автор известен читателю по двум книжкам—„Мед и кровь" и „Шкура ласковая".

Рабочий читатель знаком с его стихами, печатавшимися в „Рабочем Крае".

О первой книге Колоколова—„Мед и кровь" достаточно писалось. Это произведение расценивали, как „близкое к пролетарской литературе". Так, по крайней мере, писал в своей статье и т. Ставский. Мы не разделяем этих взглядов уже по тому, что рассматриваем „Мед и кровь" не изолированно от всего творчества Н. Колоколова, а в ряду его остальных произведений.

„Мед и кровь"— произведение, ставящее проблему отношения интеллигенции к революции, проблему долга, совести и тому подобные гуманнитарные вопросы.

На фоне медоносного, тихого, забытого городка разыгрываются революционные события.

Чекист Накатов расстреливает студента Соболева, имевшего связь с белогвардейской организацией.

Соболев, в конечном итоге, жалкий человечишка, онанист, был пациентом доктора Долгова. Этот врач, идеалист по натуре, называющий жизнь „драгоценнейшим сокровищем", долго и упорно лечил Соболева. В процессе лечения Долгов, по свидетельству автора, буквально вырвал Соболева из об'ятий смерти. Долгов полюбил своего больного.

„Я в своем святая святых,—говорит Долгов чекисту Накатову,—носил заботу о нем (Соболеве), я всем чувством врачебного долга и всей любовью отца прикрывал его от смерти, я из самого гроба вырвал его, вынес на руках... я почти воскресил его!.. А вы... вы воскресшего бросили в могилу, вы распяли мою любовь, вы мое сердце пулями прибили к кресту!.. И вас—лечить?.. Нет, вы можете, выздоровев, сделать со мной что угодно, вы можете меня... тоже расстрелять, но не лекарство я вам принес, а—вот.—Он выхватил из кармана стклянку с атропином.—Яд!.. Я врач, хотел вас отравить!.."

Но интеллигент не в состоянии убить чекиста Накатова, оказавшегося, между прочим, тоже врачем.

Между Накатовым и Долговым происходит об'яснение, после которого чекист Накатов умирает, но умирает „своей" смертью.

Этим кончается роман.

Как видим, проблема долга разрешается автором – победой об'ективной истины, носителем которой является Накатов.

Предположим, что это так. Но вряд ли автор верит сам в подобное разрешение.

Одна сцена об'яснения еще не создает предпосылок к перерождению убежденного идеалиста Долгова. Мы в это не верим, автор нас не убеждает, хотя бы уже потому, что он очень много и долго старался убедить читателя в идеалистической целеустремленности „гуманного" врача Долгова.

Сцена об'яснения здесь ничего не меняет. На протяжении всей второй части романа автор неоднократно утверждал Долгова, его гуманность, человечность. Если же мы обратимся к группе людей, творивших революцию в „медоносном городе", то мы увидим далеко не привлекательных людей (чекист, бывш. телеграфист). Наоборот, обыватели (вплоть до городового) „тихого, незлобивого городка", в который, как разрушающий смерч, ворвалась революция, в общем люди—хорошие, отменные, честные.

Автор последовательно, с убедительностью художника, доказывает правоту медоносного города, правоту Долгова. И если, в конце-концов, под тяжестью железной логики революции (а не автора), на миг показывается победа Накатова, то автор тут же с ним расправляется—чекист умирает.

Здесь хочется напомнить подобную же „расправу" другого автора с неугодным, нелюбимым героем.

У В. Иванова есть рассказ „Хабу". Там тоже действует коммунист—Лейзеров и его антипод. Лейзеров побеждает, но умирает, а его антипод остается с автором.

Так и здесь: Н. Колоколов, „признав" победу Накатова, расстается с ним и остается с Долговым, который еще десятки раз может сомневаться, который после первого впечатления от бредового монолога Накатова может снова притти к мысли—убийство, во имя чего бы то ни было,—дело вредное. Гуманность проявлена до конца с поучительным возмездием „убийце"—Накатову.

Так что же тут близкого к пролетарской литературе?—Неизвестно!

„Мед и кровь"—органически „перевальское" произведение, хотя в ту пору, когда оно писалось, автор еще не был „перевальцем", но он воспитывался „видеть мир" под руководством А. К. Воронского и его ученика М. З. Мануильского.

Мир виден, но чей?

Итак, перед нами прошла группа „перевальцев" из провинции.

Мы видим в их творчестве полное „отражение" творческих лозунгов „Перевала". Мы видим, против чего и кого эти лозунги обращены.

Против классовой борьбы, против жестокости, против Плеханова, за „гуманнизм", „чистую" природу, чистое искусство, очищенное от утилитарности, тенденциозности, за вечные истины любви и человеколюбия, за всю реакционно-мистическо-идеалистическую чушь.

Знамя „Перевала"—знамя идеологической реакции, идеализма, внеклассовости, т.-е. по существу, знамя контр-революции.

Мы были бы, однако, не полны, если бы еще не коснулись созвездий „Перевала", „Кольца Сатурна".

„Перевал"—воинствующая организация, в борьбе нужны новые силы, ибо в борьбе неизбежны потери.

В полосе упорных боев от „Перевала" отошли многие—Анна Караваева, М. Голодный, М. Светлова, Д. Алтаузен, А. Ясный, Артем Веселый и многие другие.

Но „Перевал" имеет пополнение. К нему, как к последнему убежищу, стремятся люди, потерявшие свои доспехи в боях. Провинция дает и пополнение.

Речь пойдет о неком писателе Л. Нитобурге, вступившем в „Перевал".

Л. Нитобург в прошлом рапповец. Но кратковременное случайное пребывание в этой организации не испортило „органичность" писателя.

В своих рассказах и повестях Л. Нитобург последователен до конца. Тема его произведений—обломки разбитого вдребезги—осколки деклассированных групп, потерпевших великое крушение в Октябрьскую революцию.

Мы не найдем у автора ни пролетариата, ни крестьянства, ни даже интеллигенции советской формации. Все его герои „бывшие", бывшие капиталисты, нефтяники, сыновья и дочери бывших людей, бывшие прохвосты, впрочем не только бывшие, но и настоящие. Автор окружен бывшими.

Эта органическая черта автора определена его бывшей классовой принадлежностью. Отсюда совершенно понятно, почему эти персонажи излюблены писателем.

Но автор прекрасно понимает, что показывать весь этот паноптикум без соответствующей „приправы" нельзя. И он приправляет—марксизмом, диалектикой, чем угодно—вплоть до бороды Маркса.

Неискушенного читателя это подкупает. Но только стоит вдуматься в идейное содержание произведений Нитобурга, как немедленно становится понятной вся фальшь подобной „приправы".

Не диалектическое становление личности в эпоху революции и строительства социализма, а механическое приспособление героев к изменившейся социальной среде. Все эти Моревы, Людиновы, Андреи,—все они продукт старого разложившегося класса. Пусть не смущается читатель, что некоторые из них имеют при себе партбилет (ведь мерещился подобный документ и самому автору). Их нынешнее обличие—современное, но их психо-идеология—дореволюционная, буржуазная.

Перед нами автор головоногих людей. Головоногие люди Нитобурга, правда, не походят на Гладковских, они иногда умнее, иногда интереснее, но все же они—головоногие.

В основном, через утверждение своих героев, автор утверждает тот физиологический закон, что сильные, умеющие „приспособляться" к изменившейся среде, выживают.

В книге „Сыны и отцы" мы видим, как происходит этот процесс. Некоторые погибают, но крепкие выдерживают. У автора—одно стремление—доказать, что отпрыски прошлого крупно-капиталистического дерева сохраняются и в наши дни и с помощью мимикрии привьются к настоящей жизни. Но эти люди ненужны нашей эпохе,—они с червоточиной,—так же, как не нужно, пожалуй, и творчество Нитобурга (в том виде, как оно у него развивается сейчас).

Писатель лишен полноценной социальной базы, а потому и лишен возможности дальнейшего полноценного развития.

Понятно, нельзя выносить приговор, пока еще писатель „функционирует". Творчество Нитобурга может и в дальнейшем оставлять известные следы, хотя бы в виде использованной под печатным станком бумаги, но оно обречено. Эта обреченность заключается в том, что писатель не хочет отрешиться от своих любимых тем и героев, потому что писатель не хочет спуститься к „грязному, некультурному рабочему, крестьянину" (слова автора). Он предпочитает оставаться с „чистыми" героями, при этом забывая, что его „чистые" по сути дела „грязные" люди.

Таков облик „пополнения" из провинции „Перевала".

На этом пока ставим точку.

---

# СОДЕРЖАНИЕ.


Стр.

*Михаил Шошин.*—Соревнователи. Рассказ . . . . . 3

*А. Благов.* — Никита. — Квартирант. — Одному из поэтов. Стихи . . . . . 27

*А. Алешин.* Лошадиная эпоха. Рассказ . . . . . 29

*Николай Часов.*—Баллада о паровозе. Стихи . . . . . 59

*Ив. Чуев.*—Подмастерье Егоров. Стихи . . . . . 59

*А. Киселев.*—Электромонтер при колхозе. Стихи . . . . 60

*С. Огурцов.*—Шестнадцатой бомбой. Стихи . . . . . 60

*С. Котков.* Марш пионеров.—Чистка. Стихи . . . . . 61

*А. Толдин.*—Песенка. Стихи . . . . . 62

*В. Смирнов.*—Кулак. Из второй книги романа „Гарь“ . . . . . 63

*Л. Ратновский.*—Париж. Поэма . . . . . 93

*Ав. Ноздрин.*—С Уводи на Талку. Глава из поэмы „Гарь“ . . 94

*Лев Феддер.* — И дрогнет по миру свинцовый ток. Стихи . . . . . 95

*А. Варфоломеева.*—Турксиб. Стихи . . . . . 95

*Александр Германов.* — Жадность. Комедия в трех актах. Акт первый . . . . . 96

*Д. Горбунов.*—Весна в зиме. Стихи . . . . . 111

*Михаил Марков.*—Две песни. Стихи . . . . . 111

*Н. Соколов.*—Лен. Стихи . . . . . 112

*Н. Кудаков.*—Урок. Стихи . . . . . 112

*Дм. Мозжухин.*—Приказ разума. Рассказ . . . . . 113

*Лев Феддер.*—Шесть копеек. Рассказ . . . . . 127

*О. Груздева.*—Ошибка. Рассказ . . . . . 131

*Михаил Лукьянов.*—Два дня. Очерк . . . . . 139

*К. Завьялов.*—Смешная жизнь. Из записок старого гравера . 144

*В. Залесский.*—Литературные заметки. 1) Некоторые итоги. 2) Под знаменем идеализма . . . . . 147


---


Ответственный редактор: *В. Залесский.*

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР**

**Ивановское Областное Отделение**

**Центральный книжный магазин**

**Иваново-Вознесенск, Социалистическая, д. 19/2, тел. 5-05.**

---

## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**(Составлено бибкабинетом бибколлектора Ив. Обл. Отд. Госиздата).**

III — **Семенов, С. А.**—Наталья Тарпова. Кн. I. С автобиогр. и портр. автора Илл. В. А. Милашевского.—М. и Л. „Молодая Гвардия". 1929 г. 300 стр. 60 к. (Дешевая биб-ка „Молодой Гвардии").

III — **Семенов, С. А.**—Наталья Тарпова. Роман. Кн. 2.—(М. и Л.). „Молодая Гвардия". 355 стр. 2 р. 50 к.

III — **Ставский, В.**—Станица. Кубанские очерки. 3-е изд.—М. и Л. Мосотгиз. „Московский рабочий". 1930 г. 176 стр. 75 к.

III — **Чумандрин, М.**—Бывший герой. Роман.—(Л.). „Прибой" 1930 г. 218 стр. 1 р. 30 к.

III — **Чумандрин, М.**—Родня. (Повесть). 3-е изд. (Л.). Изд-во „Прибой". 1930 г. 196 стр. 1 р.

II — III **Чумандрин, М.**—Фабрика Рабле. Роман.—М. и Л. ГИЗ. 1930 г. 319 стр. 50 к. (Дешевая б-ка Госиздата).

III — **Шолохов, М.**—Тихий Дон. Роман. Кн. I. 3-е изд.—М. и Л. „Московский рабочий". 1929 г. 464 стр. 2 р. 25 к.

III — **Шолохов, М. А.**—Тихий Дон. Роман. Кн. 2. 2-е изд.—М. и Л. ГИЗ. 1930 г. 416 стр. 70 к. Пер. 15 к. (Дешевая б-ка Госиздата).

— **Алтаузен**—Джек—Безусый энтузиаст. Лирическая поэма. М и Л. „Московский рабочий". 1929 г. 79 стр. 75 к.

II — III **Безыменский, А.**—Комсомолия. Страницы эпопеи.—М. и Л. ГИЗ. 1930 г. 64 стр. 10 к.

II — III **Богданов, Н.**—Первая девушка. Романическая история. 4-е изд.—(М. и Л.). Изд-во „Молодая Гвардия". 1930 г. 1 р. 25 к.

III — **Кочин, Н.**—Записки селькора. (Очерки).—М. Из-во „Федерация". 1930 г. 160 стр. 90 коп.

II — **Горбатов, Т.**—Ячейка. (Повесть). 4-е изд.—М. „Московский рабочий". 1929 г. 191 стр. 90 к.

— **Исбах. Александр.**—С винтовкой и книгой. (Красноармейские будни). Предисл. Ф. Кона. Изд. III доп.—М. и Л. „Молодая Гвардия". 287 стр. 1 р. 25 к.

II — III На литературном посту. Литературно-художественный сборник.—М. Мосотгиз. „Московский рабочий". 1930 г. 413 стр. 1 р. 90 к.

II — III **Платошкин, М.**—В дороге. Роман в 3 частях. 2-е изд.—М. и Л. „Московский рабочий". 1929 г. 351 стр. 2 р.

## ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ:

1. Центральным книжным магазином ГИЗ — Иваново-Вознесенск, Социалистическая, д. № 19/2, тел. 5-06.

2. Окружными магазинами ГИЗ—в Шуе, Ярославле, Костроме, Владимире, Кинешме, Александрове и Рыбинске.

3. Районными магазинами ГИЗ.

40239

ЦЕНА 1 р. 50 коп.

Перевірено 19[illegible] р.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ